

Борис Климычев

## НАДЕНУ Я ЧЕРНУЮ ШЛЯПУ

(Роман)

### 1. ЧЕЛОВЕК С ТАХТЫ АСПАЗИИ

Опять вспоминаю Ашхабад и то, как одно время учился там в Университёте марксизма-ленинизма. Не то чтобы я обожал науку, просто я думал, что это мне как-то поможет лучше устроиться в жизни. Я тогда только что демобилизовался из армии, и у меня не было ничего, кроме пустого фанерного чемодана.

Одного лектора запомнил навсегда. Он сказал на лекции, что, в сущности, человеку для жизни не так уж много и нужно: одежда, жилище и пища. Тотчас же кто-то крикнул из зала:

- А дрова?

Лектор спокойно пояснил:

- Дрова относятся к жилищу.

- А женщина? - пробасил другой голос.

- И женщина относится к жилищу.

- А выпивка? Курево?

- Это относится к пище...

В Университёте марксизма-ленинизма я больше не усвоил ничего. Но слова лектора о том, что человеку для жизни нужно совсем немного, были высечены в моём мозгу, словно надпись на скале.

После в моей жизни не раз случалось так, что я совсем не имел жилища, а если было какое-то подобие жилья, то в нём не было либо дров, либо женщины.

И когда после долгой жизни на юге я неожиданно вдруг в очередной раз появился в Томске и вышел из вокзала под серое небо, ронявшее на землю серые снежинки, я почувствовал, что для жизни мне не хватает жилища. У меня был адрес брата Гурия. Где-то на Черемошниках, в посёлке шпалозавода, надо было искать барак номер три. Ладно! В бараке я ещё не обрелся ни разу.

Черемошники - окраинный район, автобусы туда не ходили, и мне пришлось идти через весь город пешком. Чтобы не заплутаться, решил всё время идти вдоль берега Томи.

Когда-то Черемошники были "летней" пристанью в нескольких километрах от города. Когда спадала большая вода и пароходы не могли причаливать возле Томска, пассажиров высаживали на Черемошке, там же выгружали грузы. Там среди болот буйно цвела черёмуха. И обитали там, в зарослях около складов и причалов, бездомные лихие граждане.

Черемошники вообще всегда пользовались недоброй славой. Если летом кто-то возле Томска тонул в Томи, то утопленники обычно всплывали ниже по течению, на Черемошниках. Мне вспомнилось, как однажды в День авиации люди собрались ехать за реку на праздник. На катер насело столько народа, что он перевернулся. Целую неделю потом томичи вылавливали на Черемошниках своих близких...

Уже совсем стемнело, тропинка петляла вдоль берега среди причалов, транспортёров и бревнотасок. Ноги тонули то в болоте, то опилках. Пахло мокрыми верёвками, тёплым смоляным варом, сосновой щепой. Какие-то мужики подошли ко мне во тьме и попросили прикурить. Вырвали из моих рук чемодан, и один мужик, самый здоровый, по виду - атаман, сказал:

- Пестом его бить не стоит! На него плюнуть, он и то упадёт! Ну, выворачивай карманы, падла!

Я вывернул карманы. В одном кармане была горсть махорки, в другом - использованный железнодорожный билет.

- И всё? - изумился атаман. - Обувку сыми.

Я снял, он сунул длинные пальцы в носки моего порванного ботинка.

- Вот гад! У него и зачатки никакой нет!

- В чемодане у меня стихи! - набравшись наглости, сказал я. - Стихи верните, вам они ни к чему, а я ночей не спал, сочинял их.

- Иван! - обратился к атаману гундосый горбун. - Иван, давай я покакаю, а его скушать заставим. Раз с его пользы нет, так хоть посмеёмся!

Здоровяк пошёлестел моими тетрадками. Сказал:

- Не надо этого, Климбабай. Он как бы поэт.

- Поеть? - перекосился горбун.

- Всё! Бери стихи и беги! - скомандовал мне старшой. - Беги и не оглядывайся! А то и дерьмо жрать заставят, и петуха сделают! Ты нас не видел, мы тебя не слышали. Беги!

Я бежал и думал: "Крохоборы, фанерный чемодан забрали, махру и даже билет использованный. Ох! Да я же босой! Ботинки забыл! Вернуться? Ага! Ещё заставят дерьмо есть! Или что похуже сделают. Но в чём же мне теперь ходить? Босиком? Уже и снег выпал. Вот, заявлюсь я к братцу после долгой разлуки! Босиком... Да! А лектор-то в Университёте марксизма-ленинизма говорил, что для жизни человеку нужна одежда, а про обувь, видно, забыл? Впрочем, обувь, наверно, относится к одежде..."

И ещё я вспоминал на бегу: после гибели моего отца на фронте и отъезда матери в Щучинск я стал бездомным, но поскольку человек не может жить без жилища, я ночевал то у одних, то у других родственников. В 1943 году добрался и до тёти Аспазии. Она жила в деревянном двухэтажном доме с коридорной системой на улице Войкова.

В тётиной комнате был только громадный платяной шкаф и жалкие остатки старой тахты. Она была вся засалена и порвана, а ночью неожиданно падала на тот или иной бок.

Дворянка, дочь богача, она в войну осталась одна с кучей детей. А была она из тех людей, про которых говорят: ни заработать, ни украсть.

Когда я пришёл к ней, старшие её дети уже были далеко. Хоть и ели дохлых собак, голодали и болели, всё же как-то выросли. Сын Владлен учился в офицерском училище. Гурий, ещё недавно работавший учеником жестянщика на мельнице, был призван в армию. Сестра Мальвина окончила речное училище и стала капитаном буксира.

С тётей Аспазией жило лишь трое отпрысков. Даромир, как и я, был учеником в часовой мастерской.

Тётя Аспазия хотела уложить меня спать на тахту, дескать, сама она с девчонками и на полу поспит. Дарька сказал:

- Ни в коем случае, он будет спать со мной за ширмой...

За ширмой была односпальная железная койка. Дарька снял шёлковую рубашку, шевиотовые брюки, аккуратно свернул и положил на табуретку, снял он и трусы. И мне велел раздеться. И одежду тоже положить на табуретку. И трусы велел снять. Я не хотел их снимать. Дарька разозлился:

- Говорю - снять, значит – снять! - Не бойся, сэр, твоя попа будет в целости. Привык спать в трусах? Ну, смотри: ты видишь, ножки койки стоят в стаканах с керосином, и ножки табуретки - тоже. Койка железная, табурет железный, подстилаю я только клеёнку, и укрываюсь прожаренным байковым одеялом. Каждый вечер это одеяло каленым утюгом глажу. Иначе клопы и вши сожрут. Усёк?

- Но разве нельзя их вывести?

- Как их вывести, если она с тахтой и шкафом расстаться не может? Другого-то нам не купить. В тахте этой гнид, как долларов у Рокфеллера. Но - мебель.

Вдвоём на узкой койке спать было плохо, жарко. Не выспался я.

Тётя Аспазия накрывала на стол. То есть, постлала пару старых газет, а на них положила пять картошек в мундире. И нас как раз было пятеро. Мы съели по картошке. При этом тётя Аспазия повторяла:

- Кушайте, не стесняйтесь, честное благородное слово.

На стене в рамочке одиноко висела старая фотография. На ней юная тётя Аспазия стояла в гимназической форме, украшенной кружевной пелеринкой, и с портфелем в руке.

Я прожил у тёти Аспазии тогда не очень долго.

Вспоминая на бегу о делах минувших дней, я всё же зорко оглядывался по сторонам, чтобы не попасть в какую-нибудь яму или не наткнуться на компанию ещё каких-нибудь ночных искателей приключений.

Правда, теперь ограбить меня было уже совершенно невозможно. Разве что снять с меня последние рехмоты, в которые я был одет.

Когда на берегу запахло креозотом, которым обычно пропитывают шпалы, чтобы они не гнили, я понял, что шпалозавод где-то неподалёку. Увидев в одном из дворов старуху, вынесшую какую-то еду своё му цепному псу, я спросил её, где найти барак под номером третьим. Она показала мне направление - куда идти, и пояснила:

- Увидишь свалку, там и третий барак. По запаху найдёшь. Там свалка мясокомбината.

Я прошёл шагов двести и действительно учуял вонь. И увидел очертания барakov. В некоторых окнах ещё горел свет.

Я нашёл третий подъезд. Внутри было две двери. В которую постучать? Постучал в ту, что была слева. Хрипловатый баритон спросил:

- Кого это Господь к нам командировал?

- Глебычева! - сказал я.

Лязгнул крючок, я увидел широкоплечего костлявого смуглого человека с чёрными усами. Он держал в руке огарок свечи, его большие чёрные глаза глядели насмешливо-вопросительно, одна бровь была ровной, а вторая была приподнята высокой дугой, что придавало его лицу выражение весёлой иронии.

- Гм, Глебычев, - сказал он. - Может, и Глебычев, да не тот. Я-то подумал, что Даромир с Норильска ко мне свалил. А это - кто ж?

Я осознал, что выгляжу не очень-то респектабельно, в замусоленной куцавейке, порванных грязных брюках и к тому же босой, в одних дырявых носках.

- Я Глеб Николаевич! - неуверенно начал я убеждать его.

- А-а! Николая Николаевича сынок? Так мы с тобой, кажется, никогда в жизни прежде не виделись? Только слухами о тебе все годы пользуюсь.

- Один раз виделись, когда вы в подвале возле махорочной фабрики жили. Мы, правда, всего минуту и погостили. Моя мать твоей матери узел с одежкой отдала, и всё.

- Гурька! Дверь закрой, а потом и беседуйте, тепло выдувает, да огарок погаси, занавеску открой, сейчас луна светит, а свечек нет больше, - сказала невидимая женщина, лежавшая на кровати у стены с мальчиком лет шести.

- Чего огарок жалеть? Брат, приехал, которого я в жизни не видал! Открывай, Наташа, подполье, брагу доставай, обмывать будем. Хотя, может, это не брат, а самозванец? А?

Гурий снова круто изогнул правую бровь.

- Как не брат, - сказал я, - А откуда бы я знал про то, что вы около махорочной жили? Я и про Мальвину всё знаю. А когда ты в армии служил, я у тётки Аспазии в доме на улице Войкова ночевал, мы с Даромиром на одной железной койке спали. Там ещё тахта была большая, а в ней вшей и клопов полно!

- Ага! Тахта! Вши и клопы? Значит, точно - брат! Так что же ты так поздно ко мне зашёл-то?

- Да ведь я прямо с вокзала, я из Ашхабада приехал! Я там в армии служил, потом остался. Приехал вот вечером. Автобуса до Черемошки не было. Пошёл пешком по берегу, у меня чемодан и ботинки отобрали, деньги все выгребли и курево. Хорошо хоть сам живой ушёл, стихи вот только и отдали! - показал я Гурию тетради.

- А где отобрали? В каком месте? И сколько было денег?

- Да где? Возле какой-то бревнотаски, там ещё большая баржа на берегу лежит перевернутая. А денег было четыреста рублей! - не моргнув, оболгал я бедных грабителей. И тут же пожалел об этом, потому что Гурий сказал:

- Четыреста - это башли добрые. Завтра мы шмон наведём. Всё вернем! А как выглядели грабители?

- Да как? Темно - как у негра в попе. Разве их разглядишь?

- А не был ли там горбун, гугнявый такой? - спросил Гурий. Мне хотелось закричать, что - был. Но я промолчал. Ну зачем я соврал про эти деньги? Да ладно! Вполне могли отобрать. И пятьсот, и шестьсот, и угробить могли.

Жена Гурия накинула поверх ночной рубахи тёплую кофту, укрыла пацана одеялом потеплей. Открыла подполье, достала оттуда брагу, огурцы и помидоры, порезала сало, разлила брагу по стаканам. Мы все трое выпили, мы с Гурием принялись закусывать, а Наташа склонила голову набок, подпёрла подбородок рукой, и переводила глаза с меня на Гурия и обратно.

Комната их в бараке была чуть больше железнодорожного купе. В ней помещались только топчан и самодельный стол у окна. Ещё была небольшая печка возле входа. Наталья показала мне за этой печью ведро, накрытое тряпицей.

- Захочешь сходить по малому, делай сюда. Да и по большому - тоже. Такой барак, что даже сортира во дворе нет. Да и вообще из дома ночью выходить опасно.

В эту ночь у Гурия я отоспался как следует. После ужина с выпивкой Гурий пошёл дежурить, как он выразился, "на объект". Наталья пояснила, что утречком рано пойдёт сменить Гурия. А он уйдёт с дежурства в поликлинику на приём. Затем пойдёт на работу в клуб. А со мной останется их сын Аркаша, Кадик. Я, как встану, могу растопить плиту, разогреть картошку и вскипятить чай. Она зевнула, постелила мне на пол старую шубейку, укрыла меня вязаным половиком. И я проспал часов до одиннадцати. И вдруг какое-то чудовище принялось грызть мою ногу. Боль дикая! Я задёргал ногами, заорал и проснулся. Меж пальцами ноги у меня тлела вата.

Я выдернул вату, и запрыгал на одной на ноге к рукомойнику. Из-под кровати послышалось квохтанье. Я приподнял свисавшее с топчана покрывало и увидел пацана. Он смеялся, глядя на меня синими невинными глазками. Глаза у него были материны, и русый волос, но всё же как-то проглядывало и в глазах, и в выражении лица нечто скрытое, цыганское. Лукавство, но не весёлое, а испытующее, может быть, даже злое!

- Слушай! Ты зачем же вату у меня меж пальцами зажёл? Я тебе дядей прихожусь, ты ж мой племянник. А ты мне "велосипед" устроил! И где ты этому научился? Это ж только очень плохие люди такую штуку выделывают! Кадик! Я уже думаю, что ты не Кадик, а гадик! И поросёнок! - сказал я, ибо ощущал дикую боль между пальцами.

- Сам ты гад! - ответил мне этот наглый вундеркинд. - И когда я - поросёнок, то ты уже большая свинья! - Глаза мальчишки светились совсем не детской насмешкой. У Кадика были большие уши, и мне подумалось, что неплохо было бы взяться за одно из них и покрутить хорошенько. Но тут же я отбросил глупую мысль. Во-первых, Кадик-гадик пожалуется отцу, во-вторых, он может мне устроить какую-нибудь штуку почище "огненного велосипеда".

В комнате было холодно, я стал растапливать плиту, а Кадик стащил спички и обстреливал меня "ракетами". Он прижимал пальцем левой руки спичку головкой к коробку, щёлкал по спичке пальцем другой руки, спичка с треском воспламенялась и летела в мою сторону. Когда я разогрел картошку, и мы уселись с Кадиком пить чай, я тотчас с воплем вскочил, ибо Кадик успел незаметно забить в эту табуретку целых три иголки остриями вверх. Я не выдержал и дал Кадиду пощёчину. Он заревел, как пароходная сирена. Это было так некстати! Вот-вот должен был прийти на обед брат Гурий!

Но Кадик вскоре успокоился, он сидел и внимательно смотрел на меня, словно размышляя: какую бы ещё каверзу устроить? Неожиданно он спросил:

- Ты босиком по снегу гулять будешь?

- Нет, - сказал я, - с чего ты взял?

- Я слышал вчера. У тебя денег нет и ботинки отобрали. Я не спал, лежал с закрытыми глазами. Когда вы выпивать стали, я тогда уснул. Грабить будешь?

- Почему же грабить?

Кадик умолк, глядя на меня пристально, как удав.

Явился на обед Гурий. Я встревожился: не проболтается ли Кадик о пощёчине? Кадик, как ни в чем не бывало, принялся рисовать в тетрадке

человечков. Круглая голова, овальное туловище, две палочки - руки, две палочки - ноги. И была пятая более короткая палочка внизу туловища.

- Отведём Аркашку к Наталье на дежурство, - сказал Гурий, - а сами пойдём ко мне в клуб. Сегодня у меня концерт и танцы.

- Да, танцы! - смутился я. - Я-то босоногий. Аркашка предлагает ограбить кого-нибудь.

- Я сам удивляюсь! - сказал брат Гурий. Парнишка развит не по годам! Пришла почтальонша и говорит, мол, вам заказное письмо, распишись, мальчик! А он ей и выдал, дескать, иди на ..., я ещё маленький!

- Ничего! - сказал я, - женится - переменится!

- Иди ты женись, - отозвался Кадик. - Может, жена пимы поносить даст!..

Гурий нахмурил лоб:

- В самом деле, что бы такое тебе на ноги надеть? Мои старые ботинки тебе слишком велики, а вот Натальины старые тапочки подойдут! Ты их на шерстяные носки надень, и будет хорошо. Ну, танцевать в них не выйдешь... А впрочем, почему бы и нет? Это шпалозавод! Здесь народ простой, пять минут рядом постои, и карман будет пустой...

Мы вышли из барака, прошли метров пятьсот, приблизились к высоченному забору, к тому месту, где была проходная будка.

Мы постучали, Наталья выглянула в окошко проходной. Вытянула из стальных колец лом, которым запиралась дверь. На улице от выпавшего снега было свежо, а в проходной рдел, как россыпи драгоценных камней, громадный калорифер. Вокруг толстенной керамической трубы причудливо обвивалась спираль.

- Кадик, гадёныш, убью! - крикнула Наталья, обрывая у меня что-то с кацавейки. Оказалось, пока мы шли, Кадик изловчился и привязал сзади к хлястику кацавейки нитку с белым бантиком на конце.

- Тут дежурить хорошо, - пояснил Гурий. - Бывает, что мороз за сорок, а тут второй калорифер есть, как два сразу включишь - благодать, сиди себе и дремли, спираль - нихром, ни гари, ни копоти. Как в раю.

- Смена у Натальи, когда будет?

- Да когда? Мы придём с тобой из клуба ночью и сменим. Она возьмёт Кадика, домой спать пойдёт, а мы тут будем кантоваться, пока она нас не сменил.

- А что за объект?

- Контору стройуправления строят. И два жилых дома. Настоящих, двухэтажных. С печами-голландками, с водопроводными кранами на кухне! Такого в этих местах ещё не видывали. Распределят между начальством опять, ясное дело! Дома почти готовы, но не заселяют. Надо следить, чтобы стройматериал не растащили. Айда-ка, покажу!

Разморенная жарой Наталья, лежавшая на дощатом топчане, сказала:

- Чо он там не видел? Там во дворе сам чёрт ногу сломит.

Гурий уже отодвинул засов, мы вышли в темноту. Даже в темноте три белокирпичных здания впечатляли. Здесь, в краю болот, и выросших в землю избушек и барачков, здания эти были, как мираж. Вокруг двухэтажек валялись кучи битого кирпича, досок, мотки ржавой проволоки - отходы социалистического строительства. Я раза два запнулся и упал. Гурий тут всё знал и шёл уверенно.

Он достал из кармана шинели огромную связку ключей, отпер подъезд, затем отпер дверь одной из квартир.

- Смотри-ка! Это тебе не барак и не коридорная система. Для двух квартир - отдельная площадка, , когда водопровод подключат, будет почти Коммунизм!

В квартире пахло сырой извёсткой. Досчатый пол был заляпан раствором. Возле печки-голландки валялась куча сломанных досок и горбыля.

- Подтапливаю тут иногда, - пояснил Гурий.

- А зачем?

- Так баб же вожу! - ответил Гурий, будто это само собой разумелось. - Всё лето водил, а теперь-то с каждым днём всё холоднее делается. Зимой труднее будет. Можно, конечно, и в клубе заниматься, но светиться не хочется. Репутация.

- Наталья не догадывается?

- Стараюсь маскироваться. Она меня раз застучала. Так после полстакана уксуса выпила, я сам промывание делал, "скорая" в наши болота не проедет. Да пока бы я до клуба бежал, чтобы позвонить, весь уксус ей в печень впитался бы.

- А ты с медициной знаком?

- Ты бы просидел семь лет от звонка до звонка, так тоже стал бы если не профессором медицины, то хотя бы медбратом. В зоне каждый сам себя лечит. Ты думаешь, я по любви на Наташке женился? Ошибаешься, брат! Она не в моём вкусе, да и старше на десять лет. Я в зоне туберкулезом лёгких заболел. А харчи там - какие? Сколько там от чахотки на моих глазах зачахло!

Наталья в зоне в ларьке торговала. Одиночка, перестарок. Но в зоне она любому красивому зеку могла подставить и удовольствие получить. Из-за этого удовольствия она в зоне и работала. Не всё же "опущенных" в задницу могут сандалить, вот и толклись возле её ларька. Вроде покупает пряник, а сам комплименты сыплет. А что блатяк доброго может сказать? Языки-то у многих хорошо подвешены, а интеллигентности нет. Сроки у всех большие, зона режимная. Конкуренция из-за неё была дикая. Они пошлости говорят, а я ей стихи свои читаю. Как писать начал? Да так. Мне Майка в письме сообщила, что ты в Ашхабаде книжку издал. Вот я и подумал: он может, а я - что? Пальцем деланный?

Так я её стихами взял. Пустит меня в ларёк, ставень закроет - и получается час любви. И салом меня накормит, и лекарства нужные достанет.

А ближе к моему освобождению пузо у неё на нос полезло. Аркашку родила. Привязалась, как банный лист к известному месту. Мол, ребёнок сиротой будет. Пришлось жениться. Да ведь если бы она меня допитания лишила, я бы от чахотки сдох. Астма развилась к тому же...

С этими словами Гурий достал из кармана баллончик, сжал его и прыснул себе в горло.

- Это, брат, астматический приступ снимает. Дорогая штука, из Москвы прислали. Как разволнуюсь, так воздуха не хватает. Вспомнил вот зону...

Женились. А выпустили меня, так я её с собой привёз, словно в лес дрова.

- А за что сидел? - спросил я, хоть и неловко было спрашивать.

- За что? Служил-то я войсках МВД. На Украине бандеровцев вылавливали. Их ещё в лесах много было, да и в самом Львове орудовали. Я служил хорошо. Сержантом стал, а потом и старшиной. Отличник был боевой и политической подготовки.

Поставили меня на пост, в небольшую предвариловку, где в камерах бандеровцев держали. Тут как раз двух девчонок привезли, лет им по тринадцать, они листовки бандеровские в городе клеили. Посадили их в одну камеру.

Ночью приходят полковники, двое. Пароль сказали. Дверь отпер - наше высокое начальство. Я руку - под козырёк. Докладываю. А они подвыпившие, говорят:

- Дай-ка нам ключи от камеры, где бандеровки сидят, допросить их надо. Строго секретный допрос!

Как своё му высокому начальству ключи не дать? Мне велели у входа в здание стоять и никого не впускать. Через полчаса вышли из камеры, заперли её, ключи мне вернули. И ушли.

А наутро одна из бандеровок повесилась. А тут, как на грех, с проверкой из Киева ещё более высокое начальство прибыло. Оставшаяся в живых бандеровка жалобу комиссии подала. Меня вызывают полковники, что ночью с бандеровками забавлялись. И говорят:

- Ты, старшина, бери всё на себя, понятно?

Я сказал, что мне не совсем понятно. А они пояснили: если я всё на себя возьму, то мне долго сидеть не придётся. У них все колонии в руках. Всеми зонами их друзья командуют. Они меня быстро в расконвойники переведут, а года через три по зачётам и вовсе выпустят. Если же я откажусь, то меня пошлют прочёсывать лес, где бандеровцы прячутся, и я обязательно погибну от шальной пули. Это они мне твёрдо обещают. Они фронт прошли, у них - фронтовое братство. Один за всех и все за одного. И ещё они мне сказали напоследок, мол, ты, старшина, решайся, да пиши повинную. Чем раньше сядешь, тем раньше выйдешь...

Так вот я и загремел на семь лет. И никто меня в расконвойники не перевёл. Никто раньше срока не выпустил. Семь лет на Колыме от звонка и до звонка отдубасил. И я кричал, и на проволоку под током кидался. А что толку? Молодость зря прошла. Вот я и возвращаю её тут понемножку. Баб в этот дом вожу.

- Да как же водишь? Тут и кровати нет.

- Эх, не был ты в зоне! Какая там кровать! Бабу раз в сто лет увидишь, так где-нибудь на бегу, по-собачьи сделаешь. Кровать... Я вот в ларьке, стоя, меж мешков с мукой и сахаром, Аркашку сделал. Причём - я его делаю, а в ставень толпа тарабанит: открывай, Наталья, ставню, товар отпускай! Тут уж в ритме авиадвигателя приходится... И потом под мешками спрячешься, чтобы Наталья ставень открыла, а меня бы никто не видел. Такие сложности. А ты - кровать!

Вообще-то, я как бабу сюда веду, так рулоны старых афиш с собой захватываю. Постелишь на пол, ватман - бумага прочная. К тому же - я эту квартиру сфотографировал, а фотокарточку отправил в Кремль, Хрущёву. Спасибо, мол, партии, что дали мне, Глебычеву, такую квартиру.

- Так разве дали?

- Нет, конечно! Но как дом сдавать станут, я им копию своё го письма в ЦК покажу. Может, с испугу и дадут. Ну, пора нам в клуб идти.

К клубу мы прошли, петляя меж дворами, по берегу речушки Керепеть, которая была теперь пустынна, готовилась покрыться на зиму плотным панцирем льда.



Среди лая собак, темноты и безлюдья ярко светилось несколько больших окон. Мы вошли в тепло, где звучали баяны и гитары, суетилась молодёжь. К Гурию тотчас подскочили девчата и защebetали:

- Гурий Бенедиктович, Гурий Бенедиктович!

Спрашивали его про костюмы, просили гитарную струну, спрашивали, где взять грим.

Гурий всем отвечал, что до концерта ещё три часа, пусть подождут. Он отпер дверь с табличкой "Директор", мы вошли в комнату, где стоял большой канцелярский стол, над которым висел привычный портрет Ильича, напротив стола возле стены стояли стулья для посетителей, и на той стене висел портрет Хрущёва.

Гурий выглянул в дверь и крикнул:

- Клинкабая ко мне!

Я понял, что предстоит свидание с гундосым горбуном, и сказал Гурию:

- Знаешь, там денег было не четыреста, а гораздо меньше.

- Сколько?

- Ну, я не считал, я много в дороге в вагон-ресторане проел. Пусть только чемодан вернут. А что этот Клинкабай в твоём клубе делает? Не артист же он? Такой гундосый и горбатый?

- Именно артист! Да ещё какой! Он виртуоз-балалачечник. Ну, сидел, так, по мелочи, полтора годика. Кладовку у кого-то подломил, алкоголик. Последнее время под заборами спал, мог загинуть совсем, Я разрешил ему ночевать в кочегарке нашей. У нас там небольшой котёл, своё местное водяное отопление. Чуешь, как тепло? Ну вот. Грабил он тебя наверняка с кочегаром Кешей и киномехаником Иваном. Эти тоже оба судимые. Да у нас почти все местные жители когда-нибудь да сидели! Но Кешка с Иваном тоже маленькие сроки тянули. А я-то семь лет отпахал, да ещё на Колыме. Вот когда я сюда устроился, то вызвал их к себе в кабинет, достал пол-литра, разлил водку в четыре стакана и говорю: "Пейте воры, кто в законе!"

Гляжу на них - у них аж кадыки шевелятся, так выпить хотят, но не смеют, у каждого очко играет от страха.

- Почему?

- Как же? Они ж не воры в законе. Они ж знают, что нельзя себя законником представить. За это могут убить. Вот и не выпили они. Я тоже пить не стал. Выгнал их из кабинета, потом и выпил. А они легенду по Черемошке пустили, что я - в законе. Ко мне блатяки с разборками приходят. Я им говорю, мол, имейте в виду, я не в законе, это просто трёп про меня идёт. А они не верят и слушают меня, как отца родного.

В дверь заглянул Клинкабай, увидел меня, втянул голову в плечи и спросил:

- Вызывали, Гурий Бенедиктович?

- Садись. Этого человека вы на гоп-стоп взяли?

- Гурий Бенедиктович, мы думали, что он фраер!

- Это мой брат Глеб, он с Ашхабада хильнул, а вы его без ботинок оставили и без башлей.

- Это Иван всё! Да там и шмоток было, что даже на бутылку не хватило. Да кабы мы знали! Извините, Гурий Бенедиктович! Вы у Ивана с полочки высчитайте!

- Ладно! Не учи ученого, поешь его толченого. Поди, пусть тебе костюм для выступления выдадут. Да сразу после концерта опять в костюмерную сдашь. И ты бы хоть умывался иногда, а то в кочегарке вымажешься и весь день чумазый ходишь.

Клинбабай ушёл. Я спросил Гурия, отчего так горбуна зовут.

- Кликуха такая. Вообще он Клинов Сергей Иванович. Деревенский бывший. С колхоза сбежал и стал тут на Черемошке вольничать. То просит куски, то ворует, то бутылки сдаёт. Тунеядствует. Но - музыкант. Сегодня сам увидишь и услышишь.

Вызвали киномеханика Ивана. Тот сообщил:

- Под газом мы в тот вечер были. И, как всегда, не хватало. Ну и решили кого-нибудь к забору прижать. Клинбабай все шмотки толкнул за бутылку. Да кабы мы знали, что это твой брат! Ну, виноваты. Исправимся. Вот, примите для вашей радостной встречи бутылочку коньяку.

Гурий только свою высокую бровь поднял ещё выше, чем была, но ничего не сказал. Киномеханик Иван удалился, видимо, опечаленный свершившейся ужасной ошибкой.

Гурий разлил коньяк по стаканам:

- Больше с них ничего не выжмешь. Давай примем немного, да ты в зал пойдёшь, а я за кулисы, пора концерт начинать.

Меня усадили на почётное место в центре второго ряда. Грянула музыка, и на авансцене появился брат Гурий во фраке с бутафорской белой астрой в петлице. И без того чёрные его брови были подведены, губы накрашены. Рядом с ним возник аккордеонист, и Гурий запел:

- Я вам сегодня пропою,  
Хоть дар не соловьиный,  
Назвал я песенку свою:

" А так, наполовину!"

Я вам со сцены свой куплет

Сейчас с восторгом кину:

Таланта нет, нахальства нет,

А так, наполовину!

Дальше шли куплеты, в которых критиковались местные недостатки.

Налил мне пива как-то раз

Один торгаш степенный,

Он кружку подал мне тотчас

С огромной шапкой пенной,

Когда ж осела пена та

И в кружку взгляд я кинул,

Не то, что вся была пуста,

А так, наполовину!

Каждый куплет кончался этим саркастическим: "А так, наполовину!"

Зал каждый куплет встречал рёвом, свистом и топотом. Свой, здешний человек, живущий в бараке, можно сказать, вор в законе, друг народа, критикует торгашей, всякое начальство типа управдома. Как не восторгаться, как не кричать? И вид у него необычный, сверкающий и прекрасный! Вечером в избах и бараках долго будут рассуждать о смелом куплетисте.

И что говорить? Я завидовал Гурию. Я разве такие куплеты написать не могу? Да я лучше могу. Но вот не выйти мне так на сцену. Получается, что талант у меня есть, а нахальства нет? Или просто есть одна сплошная зависть к красивому, смелому, артистичному Гурию?

Была русская пляска. Были исполнительницы жанровых и народных песен. Потом вышел Гурий в том же костюме и крутил на четырёх тростинках четыре тарелки. И они не падали! Не разбивались. Подбросив тарелки вверх и поймав их, Гурий сказал после оваций:

- Это пустяк, придёте домой - и тренируйтесь, тарелок пятьсот разобьете, станет получаться... Не знаю, правда, будет ли вам хлопать жена? Но думаю всё же, что она вам нахлопает!

И опять ему бешено аплодировали.

Вышел с балалайкой Климбабай, и не узнать его было в русской вышитой рубахе, полосатых штанах и хромовых сапогах. Фуражка с цветком была надета на одно ухо, казалось - вот-вот свалится.

Климбабай поставил балалайку на указательный палец вверх декой, балансируя, притопнул ногой и выкрикнул:

- Камаринская!

Тотчас балалайка зазвенела, начала вертеться, как ветряная мельница, продолжая при этом петь мелодию. Климбабай делал вид, что не имеет к балалайке никакого отношения, мол, она сама по себе так скачет и наигрывает. Нельзя было уследить за его действиями. Балалайка, продолжая играть, вдруг оказывалась у него за спиной, потом проскакивала у него меж ног, крутилась вокруг своей оси и всё играла.

Темп игры ускорился до невозможности. Климбабай выкрикнул:

- Всё!

Зал взорвался аплодисментами. Климбабай коротко щипнул струны, вырвав из них известную музыкальную фразу: "Да пошли вы на...". Публика ответила на это озорство овациями.

А последним на сцену вышел сам Гурий Бенедиктович, и спел под собственный аккомпанемент на гитаре песню, которая должна была придать всему концерту идеологическую направленность, причём песня была созвучна судьбе самого смугловатого Гурия. Он пел:

Под чёрной кожей у негра бьётся сердце,

Он также может смеяться и грустить,

Когда ж поймёте, что негры люди тоже,

Но чёрной кожи не могут нам простить...

После концерта были танцы, но я никого не мог приглашать, так как был в тапочках. Гурий вальсировал легко, как бы парил, летел. Его наперебой приглашали.

Уже полночь мы очутились у Гурия в кабинете и допили коньяк, и вскоре в кабинете обнаружились две танцорки лет по тринадцать, с банкой самогона, и висли на Гурии, повторяя:

- Гурий Бенедиктович! Гурий Бенедиктович!

Потом одна стала щипать меня, причём за очень неудобное место. Потом наши дамы пошли, как они сами выразились, отлить. Мол, ждите. Когда они вышли. Гурий, сказал:

- Вот прошмантовки, хоть бери их и это... Давай-ка по-быстрому смотаемся от греха подальше!

Он запер кабинет, и увлёк меня в промозглую темноту. Во мне бродили самогонно-коньячные пары, и я сказал:

- А что? Если они сами лезут?

Гурий усмехнулся:

- Сами-то сами. А в лагерь нам идти. А там за такую статью на копчик садят, или хуже - берут за ноги и головой об пол стучат.

- Кто? Зеки? А они - что? Профессора? Тоже не за добрые дела сели.

- А ты поди им это объясни. Кто за малолетку туда садится, живым редко возвращается.

- А ты? Ты же вернулся.

- Мне полковники другую статью сделали - воинское преступление.

Гурий замолчал, а когда уже подошли к бараку, непонятно о чём сказал:

- А так, наполовину...

## 2. БЕЛИЛЬЩИК В ШЕВИОТЕ

Томск - не Ашхабад. Климат другой. Да и ситуация тут иная. В республиканском городе полно всяких издательств и редакций, и - кадровый голод. Половина газет в республике выходила на русском языке, но русских в полупустынной стране мало.

В Томске лишь две редакции, их загрузил кадрами местный университет на полста лет вперёд.

Мне кусок в горло не лез: ведь я объедал почти нищего. Да и спать на ледяном полу в бараке было плохо, а зима только начиналась.

Я спрашивал Гурия - не может ли он меня устроить в свой клуб, хотя бы сторожем? Или пусть даже кочегаром.

Гурий почесал пальцем высокую бровь:

- Если бы ты вышел замуж и записался бы на фамилию жены, тогда бы я мог выгнать сторожа или кочегара и принять тебя. Но теперь, даже если бы ты женился и записался бы на женину фамилию, я бы тебя всё равно не принял бы.

- Но почему?

- По кочану! Вся шпалопропитка уже знает, что ты - мой брат. Скажут, что я развёл семейственность, и вставят в задний проход перо. С другой стороны, тебя вообще нельзя принять на работу без прописки. А прописать тебя - площадь не позволяет. Да ты не хмурься! Я же не гоню!

Этот разговор у нас произошёл вечером в бараке. Гурий всё время глядел в окно через половинку бинокля. Было непонятно, чем он там любитесь: за окном был унылый пейзаж свалки, кучи отходов уже припорошило снежком. Изредка прилетали вороны, каркали и опять улетали.

- Что разглядываешь? - спросил я.

Гурий сказал:

- Этот монокуляр подарил братец Даромир в свой последний приезд. Я и смотрю в эту линзу и вижу младшего брата...

После слов Гурия я тоже вспомнил Даромира. В давние дни, в первый вечер моего гостевания у тётушки Аспазии, Даромир сказал мне:

- Айда, покурим!

Мы вышли на крыльцо, покурили. Я давно слышал от друзей и знакомых: "У тебя разве - чечётка? Вот твой брат, Даромир!"

Подпрыгнув, я пустил продолжительную дробь, с оттяжкой, со скольжением. Даромир взглянул, сказал:

- Неправильно, один пяточный удар пропускаешь. Обеднение получается. Смотри, как надо!

Он несколько раз мне показывал, в замедленном темпе делал, всё равно я не мог понять, где прячется этот дополнительный пяточный удар. Даромир махнул рукой и выбил великолепную дробь: вот, мол, как!

Тут на крыльцо выскочило странное существо, это была молодая тонкая женщина, и лицо её было почти красиво, но была в этом лице некоторая карикатурность. Женщина закричала тонко и визгливо:

- Не хрен казённое крыльцо долбить!

Мы с Даромиром послушно сошли с крыльца.

- Кто это? - поинтересовался я.

- Данюня! Дворничиха. Болезнь Дауна у неё. Но мужиков в своё й каморке принимает исправно. Рубль берёт. Хочешь, договорюсь за полтинник? Ты ведь, поди, и не пробовал, а меня Данюня и научила. И тебя за полтину обучит.

- Не, не хочу!

- Ну, за тридцать?

- Не хочу!

Тут с крыльца раздался голос Данюни:

- Фрайер какой! Я за тридцать копеек таким сопляком ещё не стану её и марать!

Мы вышли во двор, присели на лавочке, я спросил:

- Данюня - бездетная?

- Что ты! Чуть ли не каждый год рожает. Обычно умирают они у неё ещё в грудном возрасте. Но одна девочка, Ксюшечка, подрастает вполне нормальная и даже, можно сказать, красивая.

- А ты здорово бацаешь! У кого учился?

- Ни у кого. Что-то у цыган подглядел, что-то в кинофильмах видел или в спектаклях опереточных. До чего-то сам додумался...

Я вспомнил всё это и сказал:

- Дарька здорово чечётку бьёт!

Гурий, продолжая смотреть в окно, сказал:

- Не лучше меня, но ничего. Он меня на службу провожал, доехал со мной до станции Тайга, там у меня пересадка была. И сидело там возле вокзала с полтысячи цыган. Пляску затеяли. Я уже был уже острижен под ноль, мне самому бацать было неловко. Сказал Дарьке, мол, выйди в круг, покажи им, как плясать надо. И он показал! Они ошалели все : "Ай, ромалэ! Как по воздуху летает! Тебя русские из табора украли! Айда обратно к нам!"...

Гурий умолк, подкручивая свой монокулярный бинокль. Он выключил свет, вновь приник к окну:

- Явились, не запылились...

На дворе было темно, всё затянуло пеленой медленно идущего с небес снега. Я смотрел и ничего не видел. Гурий не отрывался от монокуляра. Долго молчал. Потом задёрнул занавеску, сказал:

- Хватай санки и айда!

Мы вышли в темень, в снег. Было зябко, промозгло, ноги скользили по кочкам. Гурий Бенедиктович шагал по прямой, без троп и дорог. Мы вышли в центр свалки. Гурий пнул кучу отходов:

- Здесь! Ещё тёплые! Разбирай кучу, помогай!

Мы вымазали руки в крови и дерьме. Кишки, жёлчные пузыри, шерсть. Гурий вдруг воскликнул:

- Так и есть! Половина свиной туши!

- Может, пропастина какая? - засомневался я.

- Для себя сделали! - пояснил Гурий. - Когда с мясокомбината везут отходы на машине поздним рейсом, грузчики нередко под всяким дерьмом хорошее мясо прячут. Надо только высмотреть и взять, пока они сами за ним не явились.

Мы поволокли санки в барак, прикрыв добычу захваченным Гурием половиком. Вот мы и дома!

Натальи дома не было, она с детьми отогревалась возле калорифера на дежурстве в проходной будке. Гурий отсёк ножом от половины свиной изрядный кусок, сказал:

- Закройся на крючок, порежь свинину и жарь на сковородке, никому чужому не открывай. Я скоро вернусь.

Минут через двадцать, когда в комнатухе восхитительно запахло жареном, я услышал за дверью голос Гурия:

- Отпирай, брательник, свои!

Гурий возвратился домой с киномехаником Иваном, тот почтительно встал у порога, поедая глазами своё го начальника и ожидая дальнейших указаний. Гурий скомандовал:

- Тащи сани, да так, чтобы ни одна тварь не засекала.

- Курьерский поезд! - отвечал Иван. - Все семафоры сшибу! - Пнул дверь и потащил санки со свининой.

Я с сожалением посмотрел ему вслед. Спросил Гурия - зачем же он киномеханику мясо отдал?

- Чтобы рёбра были целы.

- Свиные?

- Нет, человечьи, а точнее - мои.

- Как это?

- Грузчики после пропажи осерчают, а все они - бывшие или будущие уголовники. И куда мне полсвиной спрятать? Ни погреба, ни ледника. Иван в свой погреб поместит. За ним следить не станут. Он далеко от свалки живёт. А наши окна прямо на свалку выходят.

- Я даже не подумал.

- Это потому, что в зоне не был. Зона учит думать, анализировать. Там, брат, такие философы обретаются!

Вскоре грянула стужа. Я замаялся в поисках работы и вспомнил, что в детстве обучался часовому ремеслу. Конечно, часовщик из меня - никакой, если что и знал, всё забыл. Но, может, хотя бы в подмастерья возьмут?

На большом базаре за швейфабрикой я увидел на фанерном павильончике вывеску часовой мастерской. Сунулся туда. Столько лет в Томске не был, но меня тут тотчас же узнали.

- Глебычев! - сказал мастер, вынимая лупу из правого глаза. - Глебка, клеёнчатая кепка!

Действительно, когда я был учеником у Василия Андреевича Бынина в годы войны, то носил кепку, которую мне мать сшила из старой клеёнки. Я в этой кепке был похож на клоуна, но зато в дождь она не промокала, да другую просто и взять было негде! Тогда всё было дефицитом.

Мастера я не мог опознать. Его лицо мне было знакомо, но кто он? Нет! Не вспомнить.

- Бынин я! - сказал мастер. - Не признаёшь! Ну, я брат Василия Андреевича, Иван. Помнишь, я у вас в мастерской стены белил?

Я вспомнил. Да, был у моего мастера брат. Белильщик. Он всегда ходил с белильной палкой через плечо, и в другой руке у него всегда было ведро с разведённой извёсткой. Лицо у него обычно было розовым оттого, что он вечно был под лёгким хмельком. И я вспомнил, как Бынин говорил, что пробовал обучить брата часовому делу, но у того руки не по циркулю сделаны.

И вот Василия Андреевича давно нет на свете. А брат его Иван забросил свою белильную палку и сменные кисти и сидит в мастерской на базаре, где клиент лёгкий, выгодный, деревенский. Этот клиент мясо или масло продаст и торговаться о цене ремонта не будет, потому что следующий раз в город попадёт, может, через год, а сломанные часы ему нужно теперь непременно починить. Чаще всего тут бывает срочный ремонт, в присутствии клиента, когда квитанцию не пишут. В таких случаях Ванюша все денежки кладёт себе в карман.

Обычно в мастерские, расположенные в таких выгодных местах, сажают мастеров опытных, умелых. Значит, перенял он всё же кое-что у старшего брата, с годами освоил дело. Недаром говорят, что и медведя танцевать учат. Да! Этот Иван тут деньги лопатой гребёт, это ясно!

Иван оглядел мои нищенские одежды, рехмоты по сути. С приходом зимы я уже не мог ходить в Натальиных тапочках, но ботинки купить было не на что. Мы с Гурием изловили на свалке с десятков бездомных собак. Наталья связала мне толстенные носки из собачьей шерсти, я надевал носки и затем совал ноги в глубокие Натальины калоши. Так и ходил по городу. Гурий сказал:

- На танцы в этом не пойдёшь, но зиму обмануть можно.

И вот теперь Иван особенно долго задержал взгляд на этих калошах. Потом подал мне десятку:

- Тут за углом павильончик синего цвета, дуй, купи шампани! Я до вечера ничего крепче пить не могу, у меня сейчас клиент идёт, если чего крепче выпить, координацию пальцев потеряю.

Я вышел, размышляя о превратностях судьбы. Плебей, бывший белильщик, пьёт шампанское! Сидит в тёплом павильоне на базаре, возле его ног нихромовый калорифер пашет. Ноги - в фетровых бурках! Золотые зубы. Был худой, а теперь

такой плотный, с бычьим затылком. Сидит в синем шевиотовом пиджаке, в белой рубашке и при галстуке. Ах ты, шпана заисточная! "Шампани возьми!"

Я принёс шампанское. Иван ловко откупорил пробку, налил в фужеры, мы чокнулись.

- Я слышал, ты уезжал из Томска куда-то? - сказал Иван.

- На юге жил, в редакции работал.

Иван понимающе кивнул.

- Знаю одного. Кор-рэ-спон-дэнт! Каждое утро у меня тут в мастерской дрожит, умоляет опохмелить. А ты как? Залетел где-нибудь? Или запойный?

Пришлось объяснять ситуацию, рассказывать о кадровом переизбытке в местных редакциях. Мне так захотелось побыстрее определиться с работой, чтобы отблагодарить Гурия и Наталью за гостеприимство и снять себе где-нибудь угол, и немного приодеться. Мне бы только какое-никакое пальтишко и ботинки. И я в отчаянье попросил:

- Иван, возьми меня в свою мастерскую! Я, конечно, могу только подмастерьем либо учеником. Но буду стараться. Буду делать всю чёрную работу. Крупные часы, будильники, ходики буду починять, инструмент заправлять, в мастерской прибираться.

Иван посмотрел хитровато:

- Где там! Мне учеников держать не положено по штату, хоть в кадрах спроси. У меня даже места для второго верстака нет.

- Ну, может, подскажешь, где можно воткнуться?

Иван всё поглядывал на мои калоши. Думал. Когда мы прикончили вторую бутылку благородного вина, он сказал:

- Совет дам! У нас же - страна советов! Вот. Из базарной "скупки" приёмщик часов ушёл. Ты дуй в кадры на Обрубке, у тебя же запись в трудовой есть, что ты учеником часовщика был?

- Э! Та трудовая книжка члена артели осталась в Щучинском промкомбинате, откуда я сбежал.

- Неважно! Там кадровик хороший. Расскажи ему всё. Он поймёт. Приёмщик - работа блатная. Шахер-махер. По случаю часы за бесценок отдают. Купишь, продашь. Забуреешь быстро. Забегай потом, когда устроишься. А сейчас, извини, работать надо.

Для визита в кадры я взял у Гурия пальто, которое мне было велико, у кочегара клуба Кеши взял ботинки, которые мне были малы, а киномеханик Иван дал мне свою старую собачью шапку. Так что я стал выглядеть почти прилично. Можно сказать, что разбойники меня сперва раздели, а потом они же меня и одели.

На Обрубке я с трудом отыскал контору горпромторга в старинном здании со многими лестничными переходами. Нашёл заведующего кадрами Степана Степановича. Он мою "трудовую" пролистал, и посмотрел на меня с изумлением.

- Так, значит, вы раньше в торговле не работали? И с бухты-баряхты хотите влиться в этот самый сложный процесс?

- Но ведь я же - приёмщиком. Я сын часовщика, сам работал, мне оценить часы - раз плюнуть! - сказал я. - Последние годы я жил журналистикой, стихи писал. Но в родном Томске в газетах кадры не нужны. Почему не вспомнить свою



прежнюю специальность? Тем паче, что я буду заниматься не торговлей, а только оценкой.

- Оценка - часть торговли. Так... у вас в паспорте даже прописки нет!

- Да! Нет работы и не на что угол снять, чтобы прописаться. А раз не прописан, на работу не берут. Замкнутый круг...

Я подарил ему свою первую и единственную пока книжку "Алые тюльпаны". Это произвело впечатление. Может, это был тайный поэт или большой любитель поэзии?

Степан Степанович оставил мою трудовую книжку у себя, а мне дал записку к директору центрального комиссионного магазина.

И вот я шёл в центральную комиссионку. Там я должен был целый день стажироваться под присмотром опытейшего приёмщика, на следующий день планировалось начало моей работы в маленьком комиссионном магазинчике на центральном базаре.

Директор комиссионки, пышная женщина неопределённых лет, прочла записку Степана Степановича, с ужасом поглядела на меня и принялась звонить в кадры. Она прикрывала трубку рукой, говорила хриплым шёпотом, я мог разобрать лишь отдельные слова:

...Материальные ценности... отвечаю... Кошмар...

Она стояла по одну сторону прилавка, я - по другую. Прилавок был границей, которую эта дама решила оборонять до последней капли крови.

- Стажироваться! - настаивал я. Дама позвала приёмщика, шикарного, чернявого молодого человека:

- Геша! Тут кто-то такое... я не пушу его за прилавок. Только через труп!

Геша неожиданно принял мою сторону. Он не мог уйти в отпуск до появления в базарной комиссионке нового приёмщика. Ибо поток часов на комиссию должен был течь непрерывно, не в этот, так в другой магазин торгова.

Приёмщик сам открыл дверцу в прилавке, и я прошёл в комиссионное царство, где с полок во все глаза на меня глядели фотоаппараты, картины, отрезки шевиота и коверкота, ботинки и туфли, фарфоровые сервизы и сверкающие предметы причудливой формы, непонятного для меня назначения. Тут пахло нафталином, духами и затхлостью. Всё это меня поразило. Я - в эпицентре такой застарелой роскоши!

Директриса хваталась за голову, гримасничала, словно проглотила таракана. Она решила и сказала прямо:

- Геша, ты посади его к окну, сам сядь рядом, отдели его от матценностей. Пусть сидит. В обед сперва меня крикни, потом его выпустишь, я должна проследить, у меня - материальные ценности...

Я сидел у разбитого окна, из него несло холодом, люди подавали через прилавок часы, я их брал, открывал ножичком, вставлял в глаз лупу, смотрел, как работает баланс, крутил головку, проверяя пружину. Назначал цену. Геша писал квитанции. На горизонте опять появилась директриса и завопила, как пароходная сирена:

- Вы меня в гроб загоните! Геша! Он принимает всякого дерьма, мы его век не продадим! На мне план висит. Тебе лишь бы в отпуск уйти! Ты сам принимай, а он пусть смотрит.

Я волновался, негодовал - почему такое недоверие? Чем я хуже прыщавого франта Геши? Шапка у меня собачья, так что ж? Голова-то человечья. Не всем в пыжиковых шапках ходить. Эх, они ещё не знают, что у меня и собачья-то шапка - чужая. И пальто не моё, и ботинки.

Как ноги замёрзли в тесных-то ботинках! И бок онемел... Ладно... Всё скоро кончится. Потом будет у меня навар... Торговый человек! Пыжиковую шапку куплю, кожан, а курить буду только "Беломор", тогда посмотрим. По одежке встречают, по уму провожают!

На другое утро я пришёл в базарную комиссионку-скупку. Тут и на комиссию брали, и скупали. Директором был Семён Петрович, пожилой мрачный мужчина.

- Я к вам приёмщиком! - сообщил я. - Я у Геши стажировался, всё прошло успешно.

- У меня другие сведения! - жёлчно сказал Семён Петрович, - мне звонила Алина Викторовна. - Кто вас сюда рекомендовал?

- Степан Степанович!

- Вы что, с ним давно знакомы?

Я не знал, как ответить, и промолчал.

Началась приёмка. Базарный народ был особенный. Наваливались на прилавки, дышали перегаром:

- Друг, прими! Ну, хоть за полцены, дай хоть на бутылку!

В магазинчике работали две женщины бальзаковского возраста, одна принимала и продавала меховые изделия, одежду разную, отрезы, а другая продавала мебель, посуду, приборы, в том числе и часы. Женщины спросили меня - женат ли я? Я им сообщил свой статус. Меховщица плотоядно заявила:

- Женим!

Я принимал часы, и хоть и с трудом, но определял сумму, которую можно было выплатить владельцу часов, с тем, чтобы после продажи их магазин получил некоторый "навар". Но мне пришлось принимать и фотоаппараты, а в них я тогда совершенно не разбирался.

Я разглядывал фотоаппарат деловито и важно. А мысли мои неслись испуганными птицами. Я должен назначить цену за фотоаппарат, но как я это сделаю, если я не знаю даже приблизительно, сколько он стоит? А если это испорченный аппарат? Я его приму, и меня выгонят. Отказать? Но надо чем-то обосновать отказ! А сдатчик умильно говорил:

- Товарищ приёмщик, вы шторки попробуйте, шторки!

Чёрт бы его взял со шторками! Что это за шторки, и как их можно попробовать? Меня выбивало из колеи и то, что за моими действиями внимательно наблюдал Семён Петрович.

Чтобы не ошибиться, я стал говорить всем сдатчикам аппаратов, что временно фотоаппараты не принимаются.

- Как это не принимаются? - сердитым шёпотом спросил Семён Петрович. - На чём план делать? - Вы, приёмщик технических товаров, не знаете даже, как открыть аппарат. Может, и принятые вами часы годны лишь для помойки?

- Семён Петрович! За часы я ручаюсь! А фотоаппараты я быстренько изучу, можно же купить специальную книгу.

В обед я выскочил из магазинчика, как пробка из шампанского, и помчался в книжный магазин. Там сказали, что книга о фотоаппаратах у них последний раз была лет десять назад. Я побежал в фотографию у каменного моста, где трудился Ткаченко, ещё с военных лет хорошо знакомый мне фотограф. И он почти час рассказывал мне обо всех известных ему марках фотоаппаратов. О их особенностях. О ценах на них.

С обеда я вернулся обогащённый знаниями. Сейчас начну принимать всякие там "Фэды", и Фотокоры", то-то будет изумлён Семён Петрович! Он что-то долго не возвращается с обеда.

Вошёл директор магазина и сказал:

- Ваша бурная деятельность у нас окончена! Надеюсь, что убытки от вашей приёмки не превысят моего месячного оклада.

- То есть, как - деятельность окончена? - опешил я. - Меня сюда отдел кадров направил.

- Направил, зная, что у вас нет даже прописки в паспорте. Степану Степановичу за это в торге выдадут по полной программе. До свидания, приятно было познакомиться! - с этими словами Семён Петрович открыл дверцу прилавка и сделал издевательский приглашающий жест рукой.

Мне хотелось сказать какие-нибудь язвительные, дерзкие слова. Но я понимал, что это ничего не исправит. Ещё одна попытка зацепиться на тёплом островке жизни кончилась ничем. А ведь человеку Всего-то и надо для жизни: жилище и пища. Я поплёлся в отдел кадров за трудовой книжкой, чувствуя себя последним подлецом, который подвёл под монастырь хорошего человека, кадровика с сердцем поэта.

### 3. Пузо, Майка и Данюня

Я возвратил пальто Гурию, который во время моей стажировки ходил на работу в телогрейке. Я вернул собачью шапку и ботинки их владельцам, честным черемошинским полубандитам. И остался перед лицом жестоких морозов в глубоких калошах, в телогрейке Гурия и в старой тряпичной шапке армейского образца, которую кто-то оставил в раздевалке клуба шпалопропитки.

У меня ужасно болело что-то в боку и в спине, ночью меня бил кашель, и я решил, что у меня чахотка. На полу барака мне не поправиться. Я вспомнил свой прежний опыт кочёвки по домам родственников и знакомых, и спросил брата, нельзя ли мне ночевать у тёти Аспазии. Гурий меня заверил, что теперь там нет ни одной вши и ни одного клопа. Майка вышла замуж за закройщика Палея. Его дед и отец тоже были закройщиками. Да, конечно, мне лучше будет у Майки, там на втором этаже хоть полы тёплые.

Гурия и меня сестра Майка и тётя Аспазия покрыли поцелуями. Казимир Болеславович Палей, брюнет с круглыми блестящими насмешливыми глазами, спросил:

- Почему это, Майя Бенедиктовна, ваш двоюродный ходит зимой в калошах?

Издёвка в его голосе меня покорила, но я понимал, что действительно выгляжу странно, и пояснил:

- Потому хожу в калошах, что меня ограбили на Черемошке в первый же день моего возвращения в Томск. Я пока не работаю, купить ботинки не могу, увы!

Майка сердито поглядела на супруга:

- Чего ты вечно людей стараешься унижить? Подари ему лучше свои старые ботинки, ты ведь франтишь и старое не носишь.

- Пускай берёт, пусть хоть сейчас переобуется. А я в магазин пойду, раз такое дело.

Майка сняла с меня калоши, принесла старые ботинки супруга, я их примерил, они пришлись впору.

Палей принёс бутылку водки, причём Майка сказала:

- Пузо! Ты сильно-то губу не раскатывай, пусть гости пьют, а тебе нельзя, сам знаешь.

Я удивился. Почему она его так называет? У него вроде живот не очень-то велик. Впрочем, это их дело. Жизнь меня научила в чужие дела не вмешиваться.

Тётя Аспазия растопила печь и принялась жарить яичницу. Я снова поразился её супер-цыганскому обличию. Цыганкой она была лишь наполовину, но выглядела ею на сто пятьдесят процентов. Отменная смуглость кожи, большие выпуклые чёрные глаза, смоляные волосы, характерный нос. Но говорила, конечно же, без акцента, и характер имела совершенно не цыганский. Вся штука в том, что её мать, аристократка, спуталась тайком от престарелого мужа с кучером-цыганом. И вот что получилось.

Она в войну как-то случайно устроилась на махорочную фабрику и стала там дегустатором, хотя никогда в жизни не курила. Она набирала в рот дым и определяла влажность, терпкость и другие качества махорки и всегда - точно. Помню, в давние годы мы с Дарькой приставали к ней, чтобы выносила нам с фабрики махру для курения. На базаре стакан махорки стоил сто рублей. Дарька говорил:

- Ну что тебе стоит? Спрячь куда-нибудь под юбку. С каждой смены будешь выносить по пачке махорки - озолотимся. Ведь сколько мы на курево с Глебкой тратим! Да ведь махорка и в борьбе со вшами пригодится!

Она отвечала:

- Странное дело, как же я буду выносить эту махорку, когда она не принадлежит мне? Да я со стыда сгорю, я сон потеряю, мне хлеб в горло не полезет, честное благородное слово!..

Мы выпили по стопке за встречу и за всё хорошее, Гурий взял гитару, запел, ему подпевала Майка.

Неожиданно явился в гости отец Палея, Болеслав Болеславович, которого я вообще-то знал. Его давно и хорошо знали и все другие томичи. Ещё со времён войны он постоянно пел то в одном, то в другом городском автобусе арии из опер. Пел довольно прилично, и репертуар у него у него был обширный, от Чайковского до Верди. Закончив выступление, он обычно говорил:

- Граждане пассажиры, пожертвуйте больному артисту на пустырьник и валерьянку.

Он вошёл, и Майка сказала:

- О, синьор Бо-Бо пришёл! Я вас люблю, вы, синьор Бо-Бо, всегда пахнете приятно, словно томская центральная аптека.

Бывший лучший закройщик Томска, похожий на высохший и обуглившийся ствол тонкого прямого дерева, последние лет двадцать никогда не выходил из

состояния приличного опьянения. Но вот он скинул пальтецо и шапку, и пред нами предстал джентльмен выше среднего роста, в безукоризненно отутюженном костюме, седые волосы были аккуратно пострижены и зачёсаны на косой пробор. Болеслав Болесавович сказал:

- Аптека спасает. Тридцать копеек пузырёк, тридцать граммов спирта в любой настойке. Два пузырька дают мне полдня нирваны.

- Ты уж от водки-то отвык, так мы тебе и не нальём! - сказал Пузо.

- Я породил тебя не для хамства, сын мой! - изрёк Болеслав Болесавович. - Я думаю, Гурий Бенедиктович не позволит глумиться над беззащитной старостью.

Гурий сказал:

- Казимирчик шутит!

И разлил по стопкам то небольшое, что оставалось в бутылке. Тётя Аспазия предложила древнему закройщику солёный огурец, и тот закусил им с большим удовольствием.

Затем все уселись за стол играть в карты. Поскольку я не знал никаких игр, кроме как "в дурачки", всем пришлось играть в эту, как они говорили, примитивную игру. Я считал картёжничество тошнотворным занятием, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Мы разбились на пары. Все скоро вошли в азарт. Я заметил, что Гурий передёргивает карты. Сказал, что он мухлюет. Гурий заявил, что мне показалось. Тётя Аспазия тотчас взяла мою сторону:

- Гурий, ты совершил совершенно неблагородный поступок и должен честно признать это!

Гурий вскочил и, вращая глазами, крикнул, задыхаясь от гнева:

- Я, по-вашему, - шулер?

Я думал: ну, смухлевал он - так что? Ведь не на деньги играли! Это мой брат, приютивший меня в трудную минуту. Из-за чего спор? Надо попросить у Гурия прощения. Но в меня в ту минуту вселился какой-то бес. Неожиданно для себя произнёс я противным голосом, словно кто ножом по тарелке провёл:

- Мухлевал, моим глазам свидетелей не надо!

Гурий Бенедиктович вскочил, он задыхался, лицо его приняло синюшный оттенок, он порвал на себе рубаху и ударил лбом в тяжеленный шифоньер так, что тот сдвинулся с места на полметра. От такого удара череп Гурия должен был бы лопнуть, а мозги сойти со своё го законного места.

Я проклял себя. Но я не мог его утешить. Несправедливость его гнева меня угнетала. Правда, на этот раз я нашёл в себе силы смолчать. И тут кротчайшая тётя Аспазия ещё подлила масла в огонь:

- Гурий, я понимаю, что ты не виноват, это тебя испортили разные нехорошие люди в твоём заточении, в твоих казематах, глядя на них, ты невольно склонился к жульничеству.

Гурий Бенедиктович вскричал:

- Тупица! Я сидел не в казематах, а в зоне! И я честный человек! - Он схватился за сердце, лихорадочно нашарил в кармане брюк баллончик, брызнул в рот теофедрином и затем обложил нас всех ужасной лагерной бранью. Он выскочил из квартиры в разорванной рубахе, без шапки и без пальто, в коридоре тяжело

бухнула дверь. Я засомневался: может, он не мухлевал? Но как же? Я видел собственными глазами!

Майка накинула на себя дошку и, с пальто и шапкой Гурия, кинулась за братом.

Вскоре она вернулась с заиндевевшими волосами, неся обратно пальто и шапку:

- Темперамент дико холерический! - сказала она.

Майка за моё отсутствие в Томске успела окончить школу с золотой медалью и университет с красным дипломом, выйти замуж и родить маленькую девочку, которая теперь лежала в люльке в кружевных пелёнках и тихо сосала соску.

Майка была в этой компании самым положительным человеком. И после неожиданного ухода, а точнее - убегая Гурия, именно с Майкой я разговаривал в этот вечер о своём положении.

Она сказала:

- Конечно, мы тебя пропишем, какой разговор. Не хватает площади? Ну две же комнаты. Ну, временно. Я домоуправа уговорю.

- А Пузо? Казимир то есть?

- А что - Пузо? Здесь я хозяйка...

- А Гурий-то, поди, замёрзнет?

- Да он зашёл к кому-нибудь из друзей юности, у него много корешей и в этом доме, и в соседнем. Не пропадёт.

- Лбом сильно стукнулся.

- Да ничего, продышится. Не такое испытывал... Нервы у него измотаны, факт, жизнь была трудная.

Она говорила так, словно у неё жизнь была лёгкая.

Утром я пошёл на улицу, и в коридоре наткнулся на Данюню, она сразу же завопила:

- Ходят тут посторонние, не прописанные, я колидор не для вас мою! Не прописан тут, так ночевать права не имеешь! Я чо, для всей страны коридор мою? Ага! Это Майка тебе дала ключ от сортира. Не позволю, чтобы посторонние наш сортир за... Я свой замок на него повешу!

Данюня выглядела молодо, хотя лет с той поры, когда я жил у тётки Аспы, пролетело немало. Оглядываясь на неё, я заметил, что из комнаты Данюни на крик выглянула молодая красивая девушка, очень похожая на Данюню, но с лицом более осмысленным и приятным.

Вернувшись, я доложил собиравшейся на работу Майке об инциденте.

- А! Это у неё Василиса выросла, мужиков ей водить не даёт, так она и бушует! Да ты не обращай внимания.

Я решил не - обращать. Но только Майка ушла на работу, в квартиру постучали, и тётка Аспазия отворила дверь милиционеру.

- Кто этот молодой человек? - спросил участковый тётушку Аспазию, кивнув в мою сторону.

- Мой племянник.

- Он у вас прописан?

- Я не прописан, я недавно приехал из Ашхабада, - ответил я за тётю Аспу, понимая, что она соврать не сможет.

- Где вы были сегодня ночью?

- Как - где? Здесь и был.

- Да? Очень интересно. Именно сегодня ночью обокрали квартиру по улице Войкова, номер шесть, и гражданка Агапова показала, что вы тащили ночью по коридору узел.

- Не знаю никакой гражданки Агаповой.

- Ах, эта Данюня! Честное благородное слово! - заговорила тётюшка Аспазия. - Интересное дело, понимаете ли! У меня сын артист и работает директором театра. К нему приехал брат журналист из Улан-Батора, и такие наветы тёмной, невежественной женщины! У меня дочь окончила школу с красной медалью и университет с золотым дипломом... или, кажется, наоборот? Неважно! Другая дочь водит корабли, а её муж - партийный руководитель всего Норильска.

- Гражданка Глебычева! Вашего сына - директора клуба мы знаем. После освобождения из лагеря ему было запрещено прописываться в городе, и он два года работал в лесном посёлке на восемьдесят шестом квартале. Лишь недавно было разрешено ему прописаться в городе, и то на Черемошке. Он отбыл семь лет в колонии строгого режима! За ним - особый надзор!

- Мальчика оклеветали полковники, или генералы, а может, и маршалы, я точно не знаю, но знаю, что он пострадал ни за что!

- Гражданка! Вы этого не говорили, я этого не слышал! Очерняя советских полковников, генералов и маршалов, вы очерняете советскую власть, которая вам всё дала!

- Всё дала, всё дала! - возмутилась тётя Аспазия. - Мне ничего давать не нужно было! У меня были дома, кучера и выездные экипажи. А теперь я - дегустатор махорочной фабрики, вот уже двадцать с лишним лет, хотя сама сроду не курила. Все лучшие сорта махорки дегустировала я, ко мне с других фабрик приезжают, из других городов: рассудите нас, Аспазия Ивановна! У меня зять - наилучший в городе закройщик!

- Знаем! - сказал участковый. - Раз в год у этого лучшего закройщика центрального ателье случается месячный запой, но его не увольняют, ждут, когда протрезвится. Очень хороший закройщик. Но последний запой у него продолжался уже целых два месяца. А его папа Болеслав не только пьёт всякую дрянь, но ещё слишком громко поёт в автобусах. Некоторые граждане жалуются, не все люди любят оперное пение!

- Сын за отца не ответчик! - вскричала тётя Аспазия. - Это сам товарищ Сталин сказал, царствие ему небесное! А вы... честное благородное слово!.. Глеба Николаевича Майка пропишет в самое ближайшее время. А Данюня болтает, что в голову взбрёт. Её три раза на психе лечили, хоть кого спросите.

- Нам спрашивать не надо! Всё и так знаем. Лечили, не лечили, прав она не лишена, - сказал участковый. - А за то, что она любит порядок, её можно даже поощрить. Насчёт кражи мы проверим. Если он в ней не виноват, пусть дышит. Но если и не виноват, ответственно говорю: через два дня зайду, не будет у него прописки - вышлем в двадцать четыре часа за пределы города!

Участковый ушёл. Я запаниковал. Будут по милициям таскать! Ещё пришьют чьи-то чужие грехи мне. А что? Им лишь бы виноватого найти. Такие случаи бывали.

Вечером попросил Майку ускорить дело с пропиской. Она сходила в домоуправление. Вернулась злая:

- Вот сволочь эта Данюня, хайло поганое, везде всякого про тебя наплела, мне домовую книгу не дают!

Я спросил:

- А где твой тесть живёт? У него есть квартира?

- На Красноармейской, там такой дом, на крепость похожий... Он всегда угол кому-нибудь сдаёт, чтобы его поили. Хорошо было бы тебе у него прописаться. Глядишь, потом его комната к тебе и отойдёт...

- Да мне его комната не нужна, мне прописка нужна.

В этот момент явился Болеслав Болеславович, словно подслушал наш разговор. Он поцеловал руки тёте Аспазии и Майке. Стал просить пятьдесят копеек на пузырёк какого-то мудрёного лекарства.

Майка сказала:

- Помогу! Но и вы нам помогите. Я знаю, у вас квартирант съехал. Данька на Глеба милицию натравила. Теперь мне его тут не прописать. Вы пропишите его у себя, он устроится на работу и будет вам платить. Да вам и жить будет веселее, Глеб человек интеллигентный и любит оперу.

Я подумал, что мне оперные концерты бывшего закройщика совершенно ни к чему, но что же было делать в данных трагедийных обстоятельствах? Я пошёл с Болеславом Болеславовичем.

По дороге мы зашли в аптеку, где Болеслав Болеславович купил четыре маленьких чёрных пузырька. Когда мы подошли к водопроводной будке, Болеслав Болеславович, запрокинув голову, как аист, заглатывающий лягушку, вытряс содержимое двух пузырьков себе в рот. Затем нажал рукоятку, которая отпирала воду, и приник к губам к крану.

- Сейчас коктейль Молотова смешается и начнёт действовать! - радостно сообщил он мне. - И подал мне два других пузырька. - На здоровье!

Я пить отказался. Он обиделся:

- Я же от чистой души! Это же сразу - и лечебный эффект, и некоторое опьянение. На морозце так приятно согреть себя изнутри!

Он раскраснелся, ему было весело.

Вот и улица Красноармейская, дом номер шестьдесят один. Тёмные бревенчатые стены напоминают древнюю крепость. Болеслав Болеславович встал в позу гида:

- Посмотрите налево, посмотрите направо. Сие есть так называемый "дом с драконами". Особняк был построен по проекту Оржешко в начале двадцатого века. Архитектор был по происхождению поляк, как и я, посему был необычайно талантлив! Семь стилизованных голов загадочного животного украшало крышу и козырёк над входом. Две головы глядели на север, по две на запад и юг, на восток - седьмая голова. Это были страшилища вроде тех, которыми викинги когда-то украшали носы своих кораблей. Я думаю, что эти символические фигуры расшифровывали наш город. Он есть соединение многих начал. Он колыбель разных народов, соединяемых природой и искусством.

Безусловно, в наше время торжества науки и атеизма эти дикие символы мешали строительству социализма. Кроме того, жителям особняка нечем было



топить печи, как в годы войны, так и после неё. Одного такого дракошу я самолично отломил прошлой зимой, чтобы протопить свою комнату.

- А если бы милиция это увидела? - спросил я.

- Ну и что? - ответил Болеслав Болеславович. - Может, мне за это надо медаль дать, это вполне может пройти как борьба с суевериями и мистикой. Дракон - не наш символ. Наш символ - серп и молот!

Мы прошли в коридор, поднялись по крутой лестнице. В этом старинном особняке был получердачный этаж, где до революции, видимо, жила прислуга. Когда-то комнаты там были большими, потом их разделили переборками на комнатухи-пеналы. В одном из таких пеналов и помещался Палей. Было там два топчана, один из которых служил заодно и гладильным столом. Были в комнате два утюга, одноконфорочная плита для топки дровами и окно, выходящее во двор.

Болеслав Болеславович переставил утюги с топчана на подоконник.

- Я иногда ещё крою и шью старым профессорам костюмы. Они заказывали их мне и десять, и двадцать, и даже пятьдесят лет назад. Но у меня теперь нет ни своёй машины, ничего. И я шью у них на квартирах. Пока я шью, клиент кормит меня, поит, в том числе и вином. Сшить костюм у Палея - это что-нибудь да значит!

Я присел на краешек топчана и спросил:

- Когда мы с вами возьмём домовую книгу, чтобы я мог прописаться?

Палей задумался. Потом сказал:

- Тут дело такое. Я уже обещал одного молодого человека прописать, и взял с него за это сто рублей. Он же будет очень огорчён, если я вас пропишу, даже не возвратив ему его деньги. Дайте сотню, я ему отдам деньги, тогда и будем решать вопрос с вашей пропиской.

Я понял, что это тайно мстят нам драконы, сожжённые в печи, но я решил не падать духом, и сказал:

- Дорогой Болеслав Болеславович! Вы знаете, что меня ограбили на Черемошке. Чтобы заработать деньги, я должен устроиться на работу, а людей без прописки на работу не берут. Без бумажки я - букашка! Меня скоро упразднят, как драконов с вашего дома!

- Но у вас есть знакомые, родичи, займите сто рублей!

- Ладно! Иду! - решил я. Только вы никуда не уходите, к вечеру я приду с деньгами, а завтра будем решать вопрос с пропиской.

Я обежал всех знакомых и тех родственников, которых считал зажиточными. Побывал и в мастерской у Ивана. Никто не дал мне даже рубля. У всех были трудности. Ну кто же даст денег человеку, который ходит в телогрейке, матерчатой заношенной шапке и в старых ботинках? Человеку, который долго отсутствовал и вдруг явился в город в таком поношенном виде? Напрасно я им рассказывал про ограбление на Черемошке. Им было всё равно. Боялись, что я не верну деньги. Нет, в беде надо идти не к богатым, а к бедным.

В половине двенадцатого я пришёл к дому-крепости. Двери, ведущие в тамбур, уже были закрыты. Я постучал, сказал, что я племянник Палея. Драконий голос отвечал:

- Этого алкаша нет дома! Уходи и не стучи тут! Я сейчас вызову милицию.

Я различил, что это вещает не дракон, а дракониха. Я сказал ей:

- Я его племянник! Я должен ночевать здесь!

- Сейчас разбужу мужиков, они тебе воткнут нос в задницу!

Я зашёл во двор, попробовал кидать снежки в окно Палея. Оно было высоко, и снежок попал в другое окно, откуда тотчас послышался такой грозный рык, что я кинулся бежать.

Я боялся идти к Майке, потому что и там общая дверь была уже закрыта. Если стучать, Данюня потом насочиняет такого! У меня что-то ужасно зануло в спине, в пору было плакать. Куда я пойду так поздно? Можно только к Гурию, на Черемошку. Опять в ночи, опять один. Ну, убьют, пусть убьют - чем так мучиться.

Я бежал скрипучими тропинками, светила луна, и сыпал колючий снег. Я грозил кому-то кулаком и матерился. От мата становилось немножечко легче, словно я принимал пилюли с бромом. И ещё я думал: "Человеку для жизни нужно совсем немного - жилище и... прописка. Впрочем, ашхабадский лектор сказал бы, что прописка, как и женщина, относится к жилищу".

Вот и барак. Но удобно ли? Я обвинил брата в шулерстве. Пусть он и вправду мухлевал, разве я вправе был его огорчать? Что же, ему уж и помухлевать немножко нельзя? Разве я сам всегда шёл по жизни прямыми дорогами? Правда? Что такое - правда? У каждого человека она - своя. Правд много. Их столько - сколько людей!

Гурий оказался дома, а не на дежурстве в проходной. В эту ночь дежурила Наталья, и Кадика взяла с собой: на проходной гораздо теплее, чем в бараке. Гурий ничуть не удивился моему приходу. Спросил:

- Есть хочешь?

Я сказал, что выпил бы чаю.

- Ну и ладно, я только что пил, чайник ещё теплый.

Я рассказал Гурию о своём визите к синьору Бо-Бо.

Гурий рассмеялся:

- Ну, Майка, придумала тоже! Да этот Бо-Бо брал деньги на прописку уже человек у десяти. Его не раз били за это до полусмерти. А комнату он свою продал соседке, она только ждёт, когда он копыта отбросит. Хорошо ещё, что тебе никто сотнягу не занял, он бы её пропил, и ни денег, ни товару. А что для профессоров шьёт - факт. Палеи все - портные от бога...

- Что нового в клубе? - спросил я.

- Рабочком Шеремет грозитя выгнать меня с работы.

- За что?

- Да так. Народ на танцы стал плохо ходить. А если и придут, то норовят как-нибудь бесплатно пройти. В это воскресенье вывесил я плакат, мол, в клубе с девяти вечера танцы. Вход бесплатный. Народу набилось под завязку. А когда танцы начались, я повесил над дверями плакат: выход - платный, цена билета шестьдесят копеек. И Ванька с Кешкой у дверей встали и никого бесплатно не выпускали. Теперь мне чуть ли не уголовное дело шьют. Но я же все деньги сдал в кассу. Посадить не посадят, но выгнать могут.

- Что делать будешь?

- Там видно будет. Мне эта клоунада уже надоедать стала. Всё же - возраст за тридцать. Сколько можно людей смешить? Да и платят работникам культуры копейки.

Мы легли спать. Утром я проснулся от боли. Она была дикой, я взвыл. Гурий поднялся с топчана, протирая глаза:

- Что? Что случилось?

Я, как мог, пояснил. Он стал шупать спину, я заорал.

- И к гадалке не ходи, это почки! - сказал Гурий, - Я одно время в зонской лечебнице санитаром был, знаю. Сейчас я тебя положу на санки и в больницу повезу.

- Ох, нет, я шевельнуться не могу!

- Ладно, не шевелись. Пойду в клуб, дозвонюсь до Шеремета, попрошу машину. Придётся тебя везти за реку, а то в городских больницах начнут темнеть: места нет, нельзя без направления положить, то, сё. В Дачном городке у меня знакомые врачи. Я когда на восемьдесят шестом квартале работал, ездил в ту больницу лёгкие и сердце лечить. Лежал, так врачи из всех отделений приходили слушать мои песни и мои анекдоты. Предлагали даже место завхоза, но я отказался. Я про город мечтал, я же городской человек...

Очень скоро Гурий вернулся с машиной, вдвоём с шофером они положили меня на половик и на нём понесли в машину. Ехать пришлось медленно. Каждая кочка отдавалась у меня в спине кошмарной болью. Отвлекая меня, Гурий рассказывал, как впервые уехал на узкоколеечном паровозике на этот самый восемьдесят шестой квартал. Это просто глухой лесной посёлок. Он был мастером производственного обучения в школе для умственно отсталых детей. Не зря эту школу разместили в лесу. А всего-то народа жило в посёлке человек сто.

Там Гурий держал кроликов "на свободе" - просто запустил в подпол, они и нарыли ходов к соседям в огороды и бог знает куда. Сам не знал, сколько их у него. Хотелось крольчатины, садился, свесив ноги в подпол, бросал кочан и ждал с ружьём. Появлялся крол, Гурий стрелял, и на ужин была крольчатина.

- Вкусно! - говорил он. - Замариновать, чесноком нашпиговать и потом жарить... И ещё брали с Наташкой грибы и ягоды. А всё равно по городу скучал. И когда школу расформировали и мне было дозволено прописаться на Черемошке, я был просто счастлив.

В больнице Гурий быстро договорился с врачами. Мужик в белом колпаке положил меня на топчан, поднимал руки и ноги. Велел пописать в стакан, поднёс это скорodelьное пиво к окну, посмотрел на просвет, спросил меня:

- Спину застудил?

Я вспомнил, как сидел в той долбаной комиссионке у разбитого окна, пытаюсь стать приёмщиком, богатым и удачливым человеком. И кивнул.

- Пьяный на снегу спал?

- Нет, в окно надуло.

- А что, от окна отойти нельзя было? Значит, пьяный был.

Я промолчал.

- Давно болит?

- Недавно!

Мужик повернулся к Гурию:

- Дело серьёзное. Воспаление почечной лоханки наверняка. Пролежит не меньше трёх недель. Подлечим-залечим, но под старость всё отрыгнется. Такие вещи не проходят бесследно.

И я подумал: эго, под старость! До неё ещё дожить надо. Лишь бы боль поскорей кончилась.

Прямые стволы сосен в закуржавевшем больничном окне были великолепны. А я лежал на кушетке, и молоденькая медсестра заталкивала мне в мочевого канал катетер. Боль была невыносима, текла кровь, но плакать было стыдно. Белый колпак заглянул, сказал:

- Тебе такой порошок дали, что ссать будешь тёмно-синим. Не пугайся, это хорошо.

В палате лежали лесорубы. Простые, добрые мужики. Каждый предлагал мне домашнюю еду. Но мне нельзя было жирное, кислое, солёное, жареное, вяленое, сушёное и мочёное. И вообще всё было нельзя, кроме жиденьких и пресных диетических супов.

- Ну, тогда ты никогда не поправишься! - убеждённо сказали дети лесов.

А я лежал и думал о Ваньке Бынине, о комиссионке и скупке, о синьоре Бо-Бо, о доме с убитыми драконами. Неужели я совершенно не приспособлен к жизни? Даже Данюня имеет жилище и пищу, у неё красивая дочь, и её уважает милиция.

#### 4. Женихи сестры Мальвины

Гурий справлялся о моём здоровье по телефону. Он навестил меня в больнице, когда дело уже шло к выписке. Он сказал:

- Считай, тебе крупно повезло. Приехала из Норильска сестра Мальвина. Она привезла две сберкнижки. У неё здесь дом законсервирован, громадный, тёплый. Мамашка наша помогать будет. Ты там проживёшь зиму, как на курорте.

- А что же они вернулись? Я слышал, её Кокарев в Норильске стал большим начальником.

- Кокарев деревянный бушлат схлопотал. Он был секретарём парткома завода. И однажды вышел на трибуну и понёс семь вёрст и всё лесом. Оказалось - опухоль мозга. Врачи сказали: если не оперировать, какое-то время проживёт, но будет сумасшедшим. Если оперировать, то, может, станет нормальным, но операция рискованная.

Мальвина - баба кремень, не зря капитаном была. Оттартала Токарева в Москву, в самую лучшую больницу. После резни он, вроде, начал умнеть, но вскоре снова заблажил. Кинула его в Новосибирск. Там ему ещё раз мозги подровняли. Стал умнеть. Мальвина ему передачу принесла. В палаты не пускают. По лестнице к ней спустился. Взял гостинцы, упал и помер.

Я слышал, что сестра ещё в годы войны в шестнадцать лет окончила речное училище и стала капитаном. Идёт, бывало, по проспекту в Томске в тельняшке, в речном кителе и в белой фуражке с крабом. Пышный волос льётся по спине, глазищи огромные, сияют, загорелая, стройная, весь народ оглядывается...

Мы прошли по тропе бором. Мальвинин дом оказался очень солидным. Он гордо стоял на возвышенном месте среди сосен на краю посёлка, неподалёку от крутого обрыва, под которым текла река Бурундук.

Гурий постучал в окно. На крыльцо выбежала высокая женщина в старом застиранном платье и закричала:

- Гурька! Чего стучишь? Я же электрзвонок провела. На инженера не тяну, но механиком смогу хоть где работать. Или электриком, или водопроводчиком. Да мало ли? Нужда научит попой гвозди дёргать.

- Ты его знаешь? - кивнул Гурий в мою сторону.

- Что-то лицо знакомое, но кто это - не вспомню.

- На Войкова у матери фотокарточка его есть. Ты ж её тоже видела. Сын Николая Николаевича. Писатель. Приехал из Ашхабада в мороз и почки застудил. Только из больницы выписался.

- Заходите быстрее. Есть у меня шаманский камень с Алтая, с дыркой. Через дырку воду лить, три раза в день пить.

В доме была самая простая мебель: железные кровати, самодельные лежанки, сундуки. В простенке между окнами висел корабельный хронометр, в круглом блестящем корпусе, со светящимся циферблатом и большой секундной стрелкой. Хронометр успокоительно стрекотал. - Это у меня у меня от речной службы память, управление флота подарило. Из Москвы, из института Штернберга звонят, у меня время спрашивают, потом по радио передают.

Мальвина накрыла круглый стол: лук, бутерброды с маргарином, вяленый язык. Она разлила самогон по стопкам, сказала:

- Глебке - символически.

Дети Мальвины, шестилетняя Танюшка и десятилетний Константин, жевали бутерброды и во все глаза разглядывали меня и Гурия.

Когда Мальвина с Гурием выпили по стопке самогона, а я помочил в нём губы, Мальвина взяла с топчана гитару, украшенную алым бантом:

- Гурька! Держи!

Гурий ловко поймал гитару, заиграл забористую мелодию.

Мальвина сдёрнула со стола скатерть с бахромой, смахнув на пол стопки и недоеденные бутерброды. Скатерть обернулась цыганской юбкой. Сестра танцевала жизнь, энергию, напор. Я полюбил её в ту минуту.

Гурий вскоре откланялся, ему надо было успеть уехать в город. Мальвина уложила меня на кровать возле печи. Сама легла с детьми на обширном топчане, застланном старыми шубами.

Сон не шёл. Я спросил:

- Как же ты с юных лет капитанствовала?

- Ничего, нормально. После дикой голодухи - паёк, деньги, ну и рыбки в рейсе навялишь. На судне меня слушались, хоть и было мне шестнадцать лет всего, девчонка. Если надо, то и матом в мегафон на всю реку обложить могла, как матёрые капитаны делают.

Случай был. В Кемерово. Наш буксир заночевал там. А я на танцы побежала, молодая же, хочется. Танцую. Ночь. Иду к катеру. Из кармана курточки махры нагребла, самокрутку запалила. За мостом ни огня, ничего... Смотрю, фиксатый верзилка возник, потянул меня за руку, снял пиджак и на траву бросил:

- Ложись! А то зарежу! Считаю до трёх, раз...

У меня в кармане куртки пистончиковый пистолет - для Гурьки, для братишки купила. Достаяю его:

- Руки назад, сука! Ко мне - спиной, не то горшок слетит! Вперёд, шагай... Не вздумай бежать, не промахнусь, как раз в затылок кокну...

Обратно в город его повела. Прохожего спросила, мол, где милиция?

Пришли в отделение, пистоль в кармашек спрятала. Милиционеры удивляются:

- Как же ты, девочка, привела его? Бандит же махровый, в розыске он!

- Как? С оружием.
- Разрешение есть на ношение?
- Нет!
- Передайте сюда оружие.
- Нате!

Как увидел блатяк то "оружие", завопил:

- Ах ты, курва, ну почему я тебя не задушил?

Потом благодарность из милиции была... За жизнь-то всякого насмотрелась. Ох, что-то совсем разморило меня...

Мы уснули, и мне снились корабли и девушки-капитаны с глазами Мальвины, и собака, которая выгрызала у меня правую почку...

Вскоре прибыла к нам и тётя Аспазия. В её обязанности входило мыть посуду и варить чай. Я занимался с детьми, вытрясал ковры и ходил за хлебом, очищал двор от снега, приглядывал за самогонным аппаратом. А тётя Аспазия мыла и протираала посуду со скоростью одна чашка в два часа. И говорила сама с собой:

- Я их воспитала, честное благородное слово. И образование, и посты большие, и дома имеют, и всего полно, слава богу.

При этом нередко у неё вдребезги разбивалась чашка, которую она мыла.

Мальвина ежедневно ездила в город, то в речной, то в железнодорожный орсы за покупками. Ей надо было спешить, ибо дело шло к весне, лёд становился всё рыхлее, и должны были запретить переправляться через реку. А она хотела поскорее прилично обставить дом.

Однажды с ней приехал малорослый румяный и нагловатый кареглазый мужичок. Он представился:

- Я - Гриша. Заместитель начальника орс по снабжению.

Мужичок выгрузил из машины коробки, в них оказались: пылесос и телевизор с линзой. Кино будет прямо на дому! Об этом я и мечтать не мог. Но оказалось, что надо ещё строить на крыше антенну, Гриша с Мальвиной немедленно полезли на крышу с проволокой, щипцами и молотком. И час прошёл, и другой, но они не возвращались. Я вышел на веранду, услышал, как на чердаке что-то пыхтело и шлёпало, через щели с чердака на веранду сыпалась труха. Казалось, потолок вот-вот рухнет.

Я понял, что "кина" ещё долго не будет.

На другой день Гриша привёз аккордеон, четвертушку. И сказал Мальвине:

- Музыку я у неё, стервы, с зубов вырвал. И дача на меня записана. Остальное - не возмёшь. Как я с такой паскудой жил, ума не приложу.

Тётя Аспазия подала с кухни свою реплику:

- Я так рада ей богу! Детишечки так любят шоколад, конфеточек им купить было некому. Теперь у них будет папочка. Слава богу, не забыл он о бедных сиротках!

Сели за стол, Гриша поставил на него бутылку с коньяком и сказал, что происходит его помолвка с Мальвиной. Как только он разведётся с той гадской сукой, с гидрой проклятой, они с Мальвиной поженятся. Я спросил: играет ли он на аккордеоне? Он сказал, что - нет. Моя двоюродная тоже не владела этим инструментом. Я взял четвертушку и стал подбирать мелодию "Сулико". Не знаю, почему, я начал изучение аккордеона с этой грустной, щемящей душу песни.

Коньячная бутылка опустела. Мальвина с Гришей взяли тулуп и пошли в избушку, которая стояла во дворе напротив дома.

- Дело к весне! - сказала Мальвина. - Надо попробовать протопить там, а то все стены отсырели.

Через неделю они перестали стесняться, и спали вдвоём в маленькой комнате, отделённой от остального дома лишь лёгкой портьерой.

Иногда я не мог уснуть, и до меня из уголка счастья доносились обрывки фраз:

- Запишешь!
- Ни за что!
- И ещё машину...
- Когда на лбу вырастет...

Гриша исчез. Он появился через неделю, когда Мальвины не было дома, и сказал, что хочет забрать свой аккордеон.

Я уже хотел его отдать, но тут явилась Мальвина и закричала капитанским голосом:

- Аккордеон тебе? Дерьма на лопате! С неё сдачи не спрашивают, понял? Пошёл вон, козёл, не то в тюрьму упеку!

Гриша исчез. Но зато через день появился Эдуард Фёдорович, в больших очках. Он болел туберкулёзом и был кандидатом каких-то мудрёных наук, и работал в политехническом институте. Если Гриша был года на два моложе Мальвины, то Эдуард Фёдорович был на двадцать лет старше.

Эдуард Фёдорович аккуратно кашлял в платок и говорил, что первая жена у него умерла при родах, и он до сих пор не женился, так как занят был наукой, но теперь понял, что стосковался по тихой пристани и домашнему уюту. Возле дома стояла белая машина "Победа", принадлежавшая этому учёному.

Я знал от Мальвины, что Гриша требовал от неё записать на него дом и ещё купить ему машину. Потому они и расстались. Эдуард Фёдорович не требовал записывать дом, и у него была собственная машина. Туберкулёз, конечно, минус. Но мне с Эдуардом Фёдоровичем не целоваться, зато иногда можно будет прокатиться. Я почти полюбил Эдуарда Фёдоровича.

Он стал потихоньку перевозить к Мальвине свои вещи из города. Это были костюмы, книги и, что особенно меня обрадовало и поразило - большая подзорная труба.

Тётя Аспазия радовалась по-своему, она причитала:

- Честное благородное слово! Детишечки так любят шоколад, конфеточек им купить было некому. Господь о бедных сиротках не забыл!

В выходной Эдуард Фёдорович приехал со своим сыном Фёдором Эдуардовичем, который был студентом политеха. Они поговорили с отцом о местных красотах природы. Целебный воздух полезен отцу и сыну.

Отец поселился у нас постоянно, а Фёдор стал нас навещать при любой возможности. Он был весёлый и энергичный. Пришло лето. Мальвина развила бешеную деятельность. Она заставляла отца и сына строить в огороде огромную теплицу. И белая "Победа" привозила стекло, цемент и песок. Мальвина подбирала сама, где только можно, обломки кирпичей и стаскивала в ограду, и нас заставляла

делать то же самое, она вообще тащила в ограду всё, что попадалось ей на глаза. Раз даже притащила моток колючей проволоки. Я спросил - зачем? Она ответила:

- Что ты! Это ж такая ценность! Малину посадим, ягоды, и в том месте забор колючкой снабдим.

Однажды Эдуард Фёдорович по поручению сестры поехал на своё й машине в город за точилом, но ему удалось купить его в местном магазине, он и вернулся раньше времени.

- Мальвина! - радостно закричал он ещё в сених, - я его купил!

Но она его не слышала. Потому что лежала в этот момент на веранде на тулупе под Фёдором Эдуардовичем. Они так с Фёдором увлеклись, что даже не заметили Эдуарда Фёдоровича, который с точилом в руках стоял и смотрел на них через свои циклопические очки.

Я выбежал на крик:

- Ты мне больше не сын! - вопил Эдуард Фёдорович, ударяя точилом по стене. Я вот тебе как сейчас тресну!

- Отвянь! - отвечал Фёдор, я бы тебе тоже треснул, да боюсь рога сшибить.

Эдуард Фёдорович бросил точило на пол, выбежал из дома, плюхнулся в машину и укатил. Через некоторое время ушёл и Фёдор. Больше я никогда ни того, ни другого не видел. К моей радости, у нас в доме остались книги Эдуарда Фёдоровича и его большая подзорная труба, через которую так хорошо было наблюдать окрестности. Я даже грибы искал с помощью этого удивительного инструмента.

Сразу же после исчезновения с нашего горизонта отца и сына к нам пришёл сосед, немец Карл Иванович, который по паспорту, конечно же, был Иоганновичем. У него была огромная блестящая лысина, маленькие голубые глазки. Он был пенсионером, но сколько ему лет, по его загорелому лицу определить было невозможно.

Мы предложили ему чая, и он рассказал нам, что долгие годы является вдовцом. У него большой дом и большое хозяйство, которое он ведёт один. У него - корова, лошадь, свиньи, козы, ещё он думает завести гусей. Вот же под обрывом река Бурундук, которая в жаркую погоду пересыхает, превращаясь в цепь небольших озёр.

- Мне сильно понравилось, как Мальвина Бенедиктовна просила у меня навоз для теплицы. Она сказала, мол, не пожалей дерьмеца! А-ха-ха-ха! Это так мило! Хозяйственная женщина, всегда мечтал о такой. Надо думать теперь. Если объединять два наших хозяйства и обносить общим забором, это будет хорошо, а?

Тётя Аспазия не преминула вставить свой монолог о шоколадках, которые нужны бедным сиротам. На что немец отвечал, что сильно любит детей, так как своих ему бог не дал.

Мальвина отвечала немцу, что ей надо хорошо подумать, что это не такой вопрос, который можно решать с кондачка.

- Я понимаю, да! - сказал немец и удалился.

Не знаю, что он там понял, но я лично видел, что немец Мальвине не понравился, она не отказала ему наотрез только потому, что рассчитывала получить от него побольше навоза для нашего огорода.



Не успел уйти немец, как пришёл Петро. Я уже знал, что он служит в пожарке, сам он выслан с Украины как тунеядец. Он уже два года подбирает в бору детали сломанных велосипедов, чтобы из многих кусков собрать один дееспособный велосипед и вернуться с его помощью на батькивщину. Платят в пожарке мало. Получишь зарплату - пожарники заставляют покупать водку. На билет до Украины никак не накопишь. А велосипед всё никак не получается.

В Дачном городке почти все жители знали друг друга. Петро, конечно, прослышал про богатую вдову Мальвину и пришёл, чтобы решить все свои проблемы одним махом. И ему тоже налили чая, но при этом тётя Аспазия налила совсем жидкого, тогда как немец пил чай нормальной крепости.

Петро, прихлёбывая чай, говорил:

- Я был не последний хлопец на Львовщине. И хата у нас там гарная. И вообще. Если б не пожарка, я бы в рот не брал крепче чая. Вообще я - вполне справный мужик.

Тётя Аспазия на сей раз воздержалась от своих рассуждений насчёт сирот и шоколада. Мальвина сидела пригорюнившись. Я понимал её. Все вьются вокруг её богатства. Вот, даже тунеядец пришёл. А она хочет, чтобы её полюбил нормальный человек, и - бесплатно.

Ушёл Петро. Был уже поздний вечер, мы никого не ждали, но кто-то затарабанил в окно.

- Твою мать! - сказала Мальвина. - Для чего я электрзвонок поставила? Глаза у них, что ли, повылазили? Сходи, Глебка, посмотри - кто там?

Я отпер калитку, на всякий случай спрятав за спиной увесистый молоток. Но возле калитки стоял мужичонка ростом ещё меньше меня, он был в валенках с калошами, в кацавейке, в шапке, одно ухо которой торчало вверх. От него припахивало сивухой.

- Чего надо?

- С Милиной Билидиктовной поговорить.

- О чём?

- Дело есть, я ехал и приехал.

- Откуда?

- Оттуда.

- Я вижу, что ты - оттуда! - сказал я. - Ну, заходи! Позже-то не мог прийти?

- Позже никак, значит, невозможно было.

- Вот, поговорить с тобой хочет! - сказал я Мальвине. - Припёрся, когда уже и дети спят.

- Я вас слушаю! - обратилась к нему двоюродная.

Мужичонка заёрзал у порога:

- Присесть бы!

Ему дали стул.

- Это, значит, судьба женская чижолая, а и мужская не легче, если по раздельности. Опять же магнитное поле!

- Какое ещё поле? - удивился я. - Ты кто по специальности?

- Енженер я.

- Ну и где работаешь?

- На заводе.

- На каком, где?

- В Дугарке.

- Что ты плетёшь, на каком ты там заводе работаешь, если в Дугарке никаких заводов нет и никогда не было!

Мужик умолк, соображая. Потом сказал не очень уверенно:

- На продуктивном заводе тружусь.

- Ладно, иди! Нам спать пора! - сказал я строго. - Иди прямо и никуда не сворачивай. всё!

Он покорно встал, пошёл. Я проводил его за калитку, на улице он сказал:

- Никуда не сворачивать невозможно!..

Летом почка у меня болеть почти перестала. Претенденты на Мальвинину руку являлись часто, но такие несерьёзные, что она потеряла надежду на семейное счастье. И это было плохо. Пока она была занята женихами, жизнь в её доме была сносной.

А теперь мы сваривали рамы для будущих оранжерей. Потом во двор впихнулась самоходная буровая установка и с противным скрежетом и грохотом стала прогрызать дыру в Америку. Мальвина тем временем вела ударную работу по сживанию со света усадебных сосен. Они заслоняют солнце, не дают расти овощам, пьют соки. В городке все хозяева сводят сосны, но так, чтобы лесники ничего не поняли. Обух топора обёрнут тряпкой, Мальвина обстучит сосну со всех сторон. Будет "пояс болезни".

О Мальвина! Безжалостный речной капитан! Я прочитал ей статью, помещённую в журнале "Огонёк", и другую статью из местной газеты. Деревья чувствуют. Природа нас понимает и хочет, чтобы мы её понимали. Один американец случайно прикрепил датчик детектора к листу фикуса и увидел кривую спокойствия. И вот пришёл к нему учёный, который сжигал растения, исследуя изотопный состав пепла, и фикус пришёл в ужас.

- Всё ясно! Бери ведра, бежим в санаторий, я договорилась, возьмём на халяву два ведра извёстки!

Я понял, что работы на усадьбе Мальвины будут возрастать в геометрической прогрессии. Я уже не имел времени даже газеты читать. А главное - у меня же трудовой стаж прервался, я стал как бы тунеядцем. Я сказал об этом Мальвине, а она ответила:

- Ерунда всё! Куда тебе от такой природы, от такого воздуха бежать? Отдышись, потом устройшься. Да мы тебе потом найдём человека, который тебя задним числом оформит, и стаж не прервётся, понял?

Я понял, что надо проявить жёсткость. Я поставил ведра на тропинку и пошёл куда глаза глядят.

Мальвина подхватила ведра и кричала мне вслед:

- Лодырь! Работы испугался!

Я слышал, что один здешний куркуль скупил пять изб. С дальним прицелом. Построят понтонный мост, и цены на избы взлетят.

И я нашёл дом под шифером. И подёргал запёртую калитку, и сразу залаяло с десяток псов. Вышел кряжистый мужчина лет шестидесяти с седыми кустистыми бровями, с хитроватым прищуром. Я сказал, что хочу у него снять избушку, чтобы прописаться и устроиться на работу.

- Вы имеете сбережения, - сказал он, заглядывая в лицо, - или же тебэцешник-инвалид на пенсии? Здесь же негде работать.

Я сказал, что я тэбэцешник. Он успокоился. Сказал, что я должен купить дров, а за квартиру он платы не возьмёт.

В избе, которую мне отпер Иван Фёдорович, были: старая железная койка, самодельный стол, малюсенькая печурка. В сенцах - кадка, за матицу заткнута коса. Мне жильё понравилось, можно сказать, меблированное.

Забегал в пошивочную. Там заведующий мастерской, он же и закройщик, спросил меня, не запойный ли я? Я пошёл проторённым путем, сказал Ивану Насоновичу, что я инвалид-тэбэешник на пенсии. И здесь это помогло. Заведующий взял мою трудовую книжку, а вечером велел приходить на дежурство.

В пошивочной все портнихи сидели в одной комнате, что-то смётывали и распарывали. Швейные машины располагались ближе к окнам. У портних быстро портится зрение. Я приходил к концу работы. Краснолицый закройщик ровно в шесть нажимал кнопку звонка, портнихи соскакивали со стульев и облегчённо вздыхали.

Иван Насонович показал мне отверстие, просверленное в двери закройной. Влезут воры - вставляй в дыру ствол и стреляй. Сначала из левого ствола - солью, а не испугаются - из правого - дробью!

Я работал сторожем впервые в жизни. Вообще-то одному в большом помещении ночью было жутковато. Стрелки часов во время дежурства будто замирали. Иногда то тут, то там слышался мне шорох. Я соскакивал с гладильного стола в холодном поту. Ну, вот оно, начинается! Я бросался то к одному, то к другому окну, проверял затычки в болтах, запиравших ставни.

После я научился различать ночные звуки. Сосны роняли при каждом порыве ветра то шишку, то сучок. Падение сучка на крышу громом отдавалось в тишине.

Жизнь в отдельной избе забавляла. В опустевшем огороде лежали кучи подвянувшей картофельной ботвы и капустного листа. Среди листьев были толстые, они годились на салат и на борщ. Я перекопал заново картофельный участок и набрал много картошки.

По утрам уже сверкало во дворе иней, но к обеду солнце пригревало, на улице пахло свежестью и хвоей. Я заметил, что капустную кучу в моём огороде посещает здоровенный серый кролик, тотчас же предположил, что он дикий, и решил его поймать. Загнать в угол его было невозможно, он как сквозь землю проваливался при моём приближении.

Я насторожил над капустной ботвой ящик, оперев его о палку, к ней была привязана бечева. Начнёт он жрать капусту, дёрну, и ящик накроет его. Но он осторожно выгребал листья капусты лапой из-под ящика. И только ящик начинал падать, как кролик отскакивал. Но однажды он слишком увлёкся и попался.

Я решил, что два холостяка в одной избе, это уже слишком. Я купил крольчиху и посадил к кролу в клетку. Я видел себя в перспективе одетым в кроличью доху и шапку и едящим ежедневно диетическую крольчатину с чесноком. Но... результата не было. Тогда я сварил и съел негодяя, который с прохладцей относился к своим мужским обязанностям. А через какое-то время решил забить и крольчиху: чего ей мучиться бесплодной и одинокой! И что же? Я обнаружил в крольчихе восемь маленьких зародышей! Горю моему не было предела...

Между тем на дворе становилось с каждым днём холоднее. Сучья и валежины уже не могли нагревать мою избу. Следовало подумать о дровах. Но денег не было... Мог спасти лишь случай.

И случай нашёл меня. Всю ночь стены моей избы сотрясал ветер, она стояла на краю обрыва и была не очень защищена бором. Казалось, ветер вообще свалит её. На рассвете я вышел во двор и увидел: за забором поперек тропы лежат две сосны. Одну вырвало с корнями из почвы, другая сломалась у основания.

Я нашёл в снях обломок двуручной пилы и в следующую ночь, не без труда, конечно, распилил эти сосны. Утречком стал колоть дрова, начал выкладывать небольшую поленницу. Но в ограду проник кривоногий в форменной фуражке и с полевой сумкой через плечо. Глядя на его ноги, я предположил, что он - кавалерист.

- Билет на порубку имеется? - спросил он.

- На порубку кого?

- Не кого, а чего! - поправил меня он. - Чтобы заготавливать дрова, надо взять билет на порубку: заповедные сосны под охраной закона.

Я сказал, что заповедные сосны трогать не собираюсь, пусть растут на здоровье, я подобрал лишь то, что на тропе валялось.

- Оно вас трогало?

Он сел на чурбак, вынул из планшета бланк и заполнил его.

- Распишитесь.

Я прочел акт. Сто рублей! Я сказал, что расписываться не буду.

- Я в вашем лесу человек новый, я тэбэцешник, и у меня ни копейки денег...

Он задумался. Потом сказал:

- Тогда отнесите это туда, где взяли. Это будет наука.

Я кивал и кланялся. Он ушел. Я подумал, что таскать дрова взад-вперед - зря время терять. Раз уж попали дрова ко мне в ограду, пусть тут и лежат.

Вскоре пришёл ко мне Колодяжный и пожалел меня:

- Вы за шестьдесят рублей в месяц жизнью рискуете в этой пошивочной!

Он рассказал мне о человеке трехметрового роста, который невесть откуда взялся в этих местах. В ненастные ночи ходит погородку. Он заглядывает в окна домов, у него всего один глаз, но большой и светится, как зеленая лампа.

Во время следующего визита он сказал мне:

- Оказывается вы брат Мальвины Бенедиктовны. Отчего вы оставили её дом? Это достойная женщина.

Я не знал, как ему объяснить свой исход от сестры, и сказал:

- Я же тэбэцешник, а у неё двое маленьких детей.

- Ваша сестра красивая и умная, - вздохнул он и ушел.

Не мог я пояснить Колодяжному, что есть и в жизни сторожа свои прекрасные моменты. Он не знает, что ночь - это не только сон, но ещё и невидимая ночная жизнь. Однажды в три часа ночи, когда я уже крепко спал на закройном столе, в дверь постучали. Я вскочил со стола, взял в руки ружье и, сделав страшный голос, спросил:

- Кто?

Оказалось, пришла Роуза, одна из портних, красивая татарка лет на пять старше меня. Говорили, что её муж Ильяс бездельник и сильно гуляет с другими женщинами, и Роуза выпила стакан уксуса. После этого заболела и подурнела. Но я

находил, что и в этом подурневшем виде она была очень недурна. Стройная, с насмешливыми лучистыми глазами.

- Ильяс пьяный! Стал меня бить, я убежала. Мне до утра надо где-то быть, пока из него хмель уйдёт.

- Будь! - ответил я. - Можешь лечь на другой закрытый стол.

- Зачем - на другой? - спросила она. - Роуза болела и стала некрасивой? Тебе неинтересно?

Мне было интересно, но мне виделся Ильяс с ножом в голенище сапога.

- Тебе совсем, совсем неинтересно?

В эту ночь я больше не спал, я даже забыл, что у меня болит простуженная почка. Уже рассвело, когда мы с ней расклеились.

В Новый год Роуза задворками пробралась ко мне в избу. В руках у неё была большая сумка. Она поставила её на стол, вытащила огромный кусок мяса и сказала:

- Ведро есть? Надо положить в ведро, вынести в сени, закрыть миской, на неё положить кирпич, чтобы крысы не добрались. Будешь потом отрезать, варить и есть. Мужчина должен есть мясо. Ты не простой сторож, знаю. Ты сочиняешь. Ты слышал, что перед праздником с конюшни лесхоза лошадка в старых подшитых валенках гулять пошла?

- Как это могла лошадь валенки обуть?

- Очень просто. Её обули в старые валенки, примотали их к её ногам изолентой. Нигде лошадиных следов не было. А шкуру сожгли в печи... Конина полезная, кушай...

Я запер двери на все крючки. Мы поцеловались. Она страшно раззадорила меня, у ней всё там было гладко обрито, и потому она была похожа на девочку. Колченогая кровать Колодяжного упала на бок, но нам было всё равно.

Зима в избе, в бору, в тишине, в одиночестве. Стихи. Лыжные прогулки. Никто не тревожил меня в моём одиночестве. Лишь однажды забрел ко мне голенастый, длинноносый студент. Гордемир Хрюков. На его носу поблескивали чеховские пенсне, но вид у студента был не чеховский. Глаза были мутноваты, с какой-то дурнинкой, что ли. Он был сыном местного куркуля, его дом был больше даже Мальвинино. В его доме было даже паровое отопление. Не раз слышал я от неё: "Кто у нас живёт, так это Хрюковы!"

Студент прибежал по морозцу без шапки, волосы у него заиндевели. В маленьком посёлке я никому не говорил, что я - автор. Даже Мальвине книжку не показывал. Но студент сказал, что хочет познакомиться со мной и с книжкой. Я достал из-под кровати огромную бутылку-огнетушитель, хранившуюся у меня всю зиму. Откупоривал портвейн, стуча ладонью по дну, ковырял пробку вилкой. Студент проткнул пробку внутрь, пальцем. И, прихлебывая из горлышка огнетушителя, читал мою книжку. Я с тревогой следил за выражением его лица. Портвейн почти весь уже переместился из бутылки в студента. Он отложил мою книжку и сказал:

- Социалистический реализм.

- Ну, прочитай что-нибудь своё, - сказал я, ощутив в сердце паучка.

Хрюков высморкал свой красный нос, встал в позу и прочитал нечто разжиженное, пастернако-ахматовое. Это всё равно, что развели бы сто граммов спирта двенадцатью вёдрами воды. Автор этих стихов спросил меня, читал ли я

Хамадауна? Нет? А Хераус-Хреннемайнена? Я затосковал. всё у него начинается на букву х: и его фамилия, и зарубежные авторы.

Хрюков приник портвейновой губой к моему уху:

- Херауса я тебе достану, десятый экземпляр под копирку, но прочитать можно, ежели с лупой. Понимаешь? Они нам Херауса не дают! Железный занавес. А только с другой стороны занавески люди по-человечески и живут. И правду не скроешь!

Я сказал Хрюкову: изменись завтра строй - тот, кто был при Советах начальником - и при другом строе кайло в руки не возьмёт, а кто был сапожником - таковым и останется. И талант останется талантом, а бездарность - бездарностью. Я вообще - за, но без Херауса.

- Не понимаешь! - произнёс он свой диагноз и удалился.

А я подумал: чего надо? Имеет жилище и пищу, в вузе учится. И читает он не Херауса, а какого-нибудь московского еврея, который этого Херауса на русский язык перевёл. А я вот Херауса не читал. Зато читал Пушкина и Гоголя. Их-то уж точно написали на русском языке! Всю жизнь их читаю, и всё охота. Не понимает! Есть пророки в Отчестве. Всё - импорт вам!

И вот вновь - теплынь! Колодяжный пригласил меня к себе домой, привязав своих собак покрепче.

- Проходите, проходите! - приглашал меня любезный ветеринар.

Одна стена большой комнаты была увешана иконами, другая - картинами. Я даже перекрестился на иконы, лишь бы сделать приятное их владельцу.

- Нет, нет! Что вы! - воскликнул ветеринар. - Я атеист, ей-богу! Вот крест святой! Ради бога, никому не говорите, что иконы держу, это просто коллекция. И вот ещё картины местных художников, надо же вкладывать деньги.

Колодяжный пригласил меня присесть на диван, поднялась туча пыли. В комнатах пахло кислым и затхлым. Запах холостяцкого жилья. Иван Фёдорович, видимо, почувствовал мои мысли:

- Трудно одному под старость. Я стесняюсь женщин. Окончил веттехникум, заслали в деревню, там и посватать-то было некого. Да и после...

Иван Фёдорович вытащил из шкафа графинчик с наливкой из красной смородины, именуемой в народе кислицей, и две рюмки.

Мы выпили. Иван Фёдорович сказал:

- Огромная просьба. С тех пор, как я увидел вашу сестру, я всё о ней думаю. Такая женщина и - одна! Но я не знаю, как к ней подойти. Вы бы представили меня ей?

- Что ж, давайте сходим.

- Только мне не по себе. Давайте примем ещё по рюмочке.

Мы приняли уже по десять рюмочек, в меня с каждой рюмкой вливалась отвага, а он с каждой рюмкой сильнее робел:

- Нет, я не смогу, надо оставить эту затею.

Я предложил пить не рюмками, а стаканами.

Уже совсем стемнело, когда мы вышли из дома. Днём было жарко, вечером похолодало, по улице плыл молочный туман. Мы прошли по тропе вдоль обрыва, причем оба не раз готовы были сверзиться вниз, но, вовремя ухватившись за забор, избежали катастрофы.

Избушки, теремки, терема стояли вкривь и вкось, образуя узенькие проулки, неожиданные тупички. Заросли боярышника, шиповника, сирени и черемухи. Холмы, мостики через овраги и овражки. Тут можно было заблудиться и днём. А ночью в тумане Всё казалось иным, преувеличенным или преуменьшенным. Мы с Иваном Фёдоровичем долго не могли найти усадьбы Мальвины. Нас ели комары и мошки. Вслед нам лаяли собаки, мы поняли, что заблудились.

- Это лешак нас водит! - сказал Иван Фёдорович. - Значит - не судьба!

- Ни фиги! - ответил я. - Человек сам творец собственного счастья.

И дом Мальвины сам вышел нам навстречу. В заборе я нащупал специальное отверстие, в которое просунул руку, и подвинул в скобах жердь, запиравшую ворота и калитку.

Вдруг в глубине усадьбы сверкнул непонятный свет. И сквозь туман я разглядел человека огромного роста с огромной головой и с одним большим светящимся глазом. Он двигался от водоёма в нашу сторону и кричал непонятное слово. "Тем лучше! - сказал я себе. - Раз есть оборотни, значит, есть загробная жизнь, и, следовательно, мы умираем не совсем".

- Это он! - вскричал ветеринар. - Трёхметровый, зеленоглазый! Караул! Милиция!

Я бежал в сплошном тумане, ориентируясь по дробному топоту Ивана Фёдоровича. Топот неожиданно смолк. Послышался треск ломаемых кустов и отдаленный вскрик.

В разрывах тумана передо мной обозначился обрыв. Я понял, что ветеринар свалился вниз. Оглянулся - не бежит ли за нами зеленоглазый, но ничего не увидел, и решил спуститься вниз и посмотреть, что стало с моим спутником.

Мне казалось, что я спускаюсь очень осторожно, но я поскользнулся, и закувыркался так, что некоторое время не мог понять, где у меня голова, а где ноги, они всё время менялись местами. Уже лежа под яром, головой вниз и ногами кверху, потому что я находился в какой-то яме, я стал размышлять. Я думал о том, что в трезвом состоянии я бы обязательно убился. Но поскольку я пьян, мне не только не больно, но и даже совершенно наплевать на то, что я теперь нахожусь вверх ногами.

- Ох, нога! Моя нога! - послышалось из тумана.

- Иван Фёдорович, - сказал я, - успокойтесь! Мы мыслим, следовательно, мы существуем. И зеленоглазый нас не догнал. И я стою на голове, но это не мешает мне рассуждать, значит, не всё потеряно. Я вас спасу.

- Да как же? Во мне сто килограммов, вы меня наверх не унесете, туда и пустому взобраться по такой крутизне очень трудно.

- Неважно, я вам вправлю вывих, и будем сидеть здесь до утра. А там, видно будет.

- Ага! Нас тут комары съедят.

Я поднатужился. Вылез из ямы и приблизился к Ивану Фёдоровичу.

- Ох! - сказал он. - Вдруг у меня не вывих, а перелом? Больно ужасно!

А мне почему-то с невероятной силой захотелось вправить ему вывихнутую ногу. Я ухватил несчастного ветеринара за ногу, и сильно дернул её на себя. Иван Фёдорович завопил, как теплоходная сирена:

- Ой, ё-ёй! Вы мне ногу оторвали! Вы не медик, даже не ветеринар. Может, у меня перелом...

- Что ни делается, всё к лучшему! Зеленоглазый мог бы вас просто съесть. Вообще - мужайтесь, ведь вы же жених моей сестры. Мы, может, скоро породнимся. Мальвина не любит нытиков.

- Вам бы так! - воскликнул Иван Фёдорович и надолго умолк, почувствовав, что допустил бестактность.

Потом я сказал Ивану Фёдоровичу, что нам ничего не остается, как двигаться по имеющейся неподалеку пологой тропе, пусть она делает гигантский зигзаг и домой мы попадем не скоро. Но всё -таки мы будем двигаться к цели.

И несколько часов мы ползли на четвереньках по этой тропе, временно превратившись в четвероногих. Вообще-то я при падении ничуть не пострадал и мог шагать по тропе обычным порядком, но полз на карачках из солидарности с Иваном Фёдоровичем. У него, как после выяснилось, не было никакого перелома, не было вывиха, и не было даже растяжения связок. Просто при падении подвернулась нога.

Ещё через день я навестил Мальвину. Рассказал ей о ночном призраке. Кажется, она нашла своё счастье. Несколько месяцев назад в городок прибыл из Анжерки Кеша. Её погодок. Он теперь живёт в её доме. Трудолюбивый силач, умница. И рост - два метра десять. Это его видели мы с Колодяжным тогда, ночью. Он выходил во двор пописать, а на голове у него была шахтерская каска с прожектором.

## 5. Кеша Курдаков, эсквайр

В одно из воскресений приехал ко мне Гурий, на сей раз с Натальей и Кадиком.

- Отдохнуть решили всем кланом. Ты можешь меня поздравить, я наконец-то получил настоящую квартиру! Я им писал, что болел чахоткой, что у меня астма. И вот - снизошли.

- В кирпичном?

- Да нет. В деревянном. Но в самом центре города, на улице Татарской на втором этаже. Старинный дом. Дерево дышит, это для легких лучше.

Мы зашли в избу, я показал Наталье, где у меня ложки и плошки, она принялась готовить обед, а мы с Гурием решили пойти искупаться.

Когда мы вышли во двор, я увидел Кадика, который сидел на корточках и выдирали из грядки морковь и бросал в кучу. Я заметил, что он успел уже выдрать и свеклу с грядки, принадлежавшей Колодяжному. И свекла, и морковь ещё толком не выросли, а он всё повыдрал. - Ты что же это делаешь, негодяй! - вскричал я. - Испортил столько свеклы и моркови. Она бы, какая могла вырасти?

- Так мы к тебе ещё, может, через год приедем, а мне же надо домой морковки от дяди родного привезти? Или жидишься?

Гурий ухватил его за ухо, Кадик завопил:

- Я большой вырасту, а ты будешь старый и слабый, и я тогда тебе все уши оторву! Понял?

Мы пошли купаться, Кадик кинулся за нами.

Мы спускались по пологой тропе к речке Бурундук. А может, и не к речке, а к озеру. Вопрос в том, что возле горы, на которой шумит Тимирязевский бор, и где расположен Дачный городок, когда-то было второе русло великой реки Томи. Русло



это со временем обмелело и превратилось в цепь озёр: Пыхалку, Нестоянное, Бурундук.

Вообще-то в половодье все эти озёра соединяются в одну быструю реку. Летом они распадаются на отдельные водоёмы, но заметно, что вода потихоньку перетекает из одного озера в другое. Потому эти озера иногда называют ещё и речками.

И вот перед нами открылось озеро Бурундук. Его берега поросли калиной, осиной, кустарниками. Вода была коричнево-зеленая, так как настоялась на травах. На отмелях виднелись заросли тростников и во множестве плавали молочного цвета кувшинки. Берега были травянистые и глинистые. Тут были рассыпаны звездочки пижмы, росло множество ромашки, зверобоя и мяты. Лопухи и мать-и мачеха приятно щекотали ноги.

Мы с Гурием разделись до трусов и легли на травяной ковер. Рядышком трещали прозрачными крылами изумительно красивые стрекозы, над нами тяжело, как бомбовозы, гудели шмели.

- Хорошо! - задумчиво сказал Гурий.

- Хорошо! - подтвердил я. - Ты знаешь, Гурька, в природе всё целесообразно. И хищные, и травоядные животные, и насекомые едят не больше, чем нужно для выживания и продолжения рода. И только человек готов бесконечно хапать. И потому он вечно воюет и уничтожает и себе подобных, и всех прочих. Что же это за скотина такая - человек?

- Я сам всегда удивляюсь, - сказал Гурий. - Жизнь человека вообще - страшная штука, ведь даже когда я ел в зоне овсянку, я ел чьих-то детей.

- В каком смысле?

- В самом прямом. Подумай, зерна - ведь это дети растения. Его колос созревает, чтобы создать новые поколения растений. А мы эти зернышки в котелок сварим, и - ам-ам! Кто же мы после этого?

Не знаю до чего бы мы договорились, но вдруг вода у берега взбурлила и из неё вынырнул мужик. Стоя по грудь в воде, он оглянулся. Тотчас же рядом с ним вынырнула женщина. Мы с Гурием не сразу признали в ней Мальвину. Нас сбила с толку резиновая шапочка на её голове, под которую Мальвина ухитрилась упрятать свои пышные волосы. Она-то нас сразу узнала. И воскликнула:

- Вот греются на солнышке вахлаки, бросившие сестру с малыми детьми в трудную минуту бандитам на съедение!

- Каким ещё бандитам, что ты плетешь? - поднял свою высокую бровь Гурий.

- Ты Дамира знаешь? Ну вот. Последнее время он прилип ко мне как банный лист к заднице. Я одинокая слабая женщина. А вы... вы обходите дом сестры стороной, вам до неё и дела нет, её могут убить, ограбить, изнасиловать, вам плевать, козлы вы этакие, барашки недоделанные...

Как житель Дачного городка, я конечно же, слышал о Дамире и видел его не раз. Парень лет двадцати, глава местной шпаны. Когда я вижу таких деревенских шалопаев, то невольно вспоминаю частушку:

Вы ребята, ребитё!

Где вы деньги беритё?

Вы по баням ходитё,

Чугуны воруютё!

Ох уж эти местные уголовнички! Ну, могут кладовку подломить, разбить на куски статую в парке, нос кому-нибудь расквасить. Их ли Мальвине бояться? После Норильска?

- И что? Дамир всё не дает тебе прохода? - приподнявшись на локте, и высоко подняв бровь, спросил её Гурий.

- Его Кеша отвадил, - ответила она. - Как фронтовик, и бывший десантник разведки дальнего действия.

"Ага! - подумал я. - Она уже знает, какого он действия!"

Кеша присел на песке, обхватив длинными пальцами свои ноги. У него была мощная фигура борца, большая голова, лоб с залысинами, отрощенные на затылке длинные волосы. Большие серые глаза смотрели насмешливо, а небольшой рот и едва заметные маленькие брови придавали лицу выражение капризного младенца. Он нам представился:

- Иннокентий Курдаков! Эсквайр!

Мы с Гурием вошли в воду, поплавали. Гурий нарвал кувшинок и букет преподнес Мальвине, поклонившись и поцеловав руку.

- Чует пес, чью печенку съел! - сказала Мальвина. - Идем ко мне, отметим нечаянную встречу.

Мы стали подниматься по той самой протяженной, но пологой тропе, по которой в злополучную ночь я полз на карачках рядом с ветеринаром. Возле тропы росли лопухи, конопля, полынь. В траве и кустах были разбросаны отходы человеческого быта. Громадный Кеша вдруг воскликнул:

- Вон валяется сломанная фара от мотоцикла, а вон и тумбочка без дверцы. Я дверцу приделаю, а фару исправлю!

Мальвина нашла возле тропы останки кожаной куртки:

- У нас чердак большой! - сказала она. - Кинуть туда, пускай лежит, мало ли для чего потом кожа может понадобиться?

"Родственные души!" - понял я.

Вдруг Кадик закричал:

- Резинку нашел! Сейчас шар надую!

Гурий посмотрел его в сторону и закричал:

- Брось сейчас же! Не смей ко рту подносить!

- Ага! Как бы не так! - бурчал Кадик. - Я счас шар сделаю! - и поднес резинку к губам. Отец подскочил к нему, выдернул резинку, отшвырнул её и вlepил Кадика пощёчину:

Сплюнь сейчас же, скотина! Я говорил тебе в рот не брать? Говорил! А ты что сделал?

- Ага! Я в детдом уйду! - заревел Кадик. - убегу, по вагонам буду песни петь. Про это... про Марусю, которая отравилась. Я же в кино видел. Пацан пел...

Вскоре мы уже сидели за столом возле летней кухни в усадьбе Мальвины. Я увидел, что к избушке, стоявшей напротив дома, пристроились ещё две кирпичных избы и одна деревянная.

- А это зачем построили? - спросил я Мальвину.

- Как зачем? - воскликнула она. - Что, у меня родни мало, что ли? Ты вот снял у чужого дяди избу, а можешь снять у сестры родной, и гораздо дешевле!

"Сестра ты - двоюродная, - подумал я, - это - раз, и второе - снять дешевле, чем у Колодяжного - невозможно, он пустил меня бесплатно. И он не вмешивается в мою личную, единственную и неповторимую жизнь".

На столе, несмотря на урожайное время, были давно мне знакомые бутерброды с маргарином и мутный самогон в большом графине. Я видел: за углом дома было всё красно от малины, в огороде на грядках сквозь ботву проглядывали прелестные огурчики, возле забора росла виктория размером в кулак. В этом огороде чего только не было! А на столе были только бутерброды, намазанные слоем более тонким, чем бумага.

Мы выпили по стопке, и Гурий спросил:

- Так как же спасли тебя от Дамира?

- История! - сказала Мальвина. - К соседке сын Федя в отпуск прибыл и дружка Кешу в гости привез. Позвали и меня на семейное торжество. Кеша и говорит, мол, миссис-писсис, приглашаю на танцы... Пришли. А на танцвернаде - Дамир с кодлой: сваливай, приезжай, - убьем! Дамир на Кешу кинулся, с велосипедом над головой... Кеша ему вмазал: куда - Дамир, куда - велосипед.

Ладно. Кеша ведет меня домой напрямую через бор. И взяли нас в кольцо. Кеша поднял валежину над головой: подходи - помолясь! Пошумели, ушли: мол, после поймаем. Кончился отпуск и Кеша поехал, чтобы с работы уволиться и ко мне вернуться. Сразу после его отъезда ночью Дамир с топором Кешу убивать пришел. Под кроватями его искал и на чердаке, в бане, в избушке. Я говорю:

- Чего ты, падла, ищешь вчерашний день? Ведь знаешь, что Кеша уехал. Вернется, тогда приходи...

- Вернулся я, - продолжил рассказ Мальвины Кеша, - и тоже ночью в дом Дамира пришел. Говорю: "Вот он я! Убивай!" Он заюлил. Дружбу предложил. А на хрен мне его дружба? Я Курдаков, эсквайр! Я вообще - Робин Гуд!

Мы выпили. Иннокентий Павлович поведал о том, как в детстве сделал первый лук, не догадываясь, что это он не прутик сгибает в три погибели, а свою собственную судьбу. Стал в состязаниях лучников участвовать, занимал призовые места.

Ближе к концу войны Кешу из десятого класса взяли в армию. В военкомате посмотрели на его рост, силу, на то, что он кандидат в мастера спорта, и направили в спецшколу.

Наши войска были уже на территории Германии, когда Кешу с другими десанниками разведки дальнего действия забросили в тыл врага. В отряде он действовал именно, как лучник, когда надо было бесшумно снять часовых. Его так и в шифровках называли - "Робин Гуд". Мы выпили за разведку дальнего действия, за колымских заключенных, за ашхабадские арбузы, за норильские шахты и заводы. Выпили бы ещё за что-нибудь, но Мальвина сказала, что хватит, и спрятала самогон.

- Парни, айда, прогуляемся! - позвал нас с Гурием Кеша. Он взял с дивана гитару.

- Куда? - спросила Мальвина.

- Серенады деревенским дурочкам петь! - отвечал Кеша. - Помнишь, как у Некрасова? Гитарист и соблазнитель деревенских дур, он же тайный похититель индюков и кур!

Мы вышли в великолепие природы. В бору мхи зеленые и серо-серебристые, мхи оттенков, для которых нет названия, они - на песке и такие гладкие и сухие, что можно в лакированных туфлях гулять. Есть места, где сплошь - увалы, стиральная доска как бы. Изумляешься. А то забредешь в низинку, где среди осин рассыпаны голубичники и черничники. Там тоже бывают грибы, но уже для соления: грузди, сыроежки. А сквозь сосняки проглядывают там и сям дома, избы.

Мы шли к ларьку. Закрывался он в девять. Да. Не повезло. Окно киоска уже было задвинуто ставней. Но внутри мы ощутили некое шевеление - звякала посуда, что ли.

Гурий заиграл на гитаре и затянул:

- Ми-лая!

И мы с Кешей подхватили:

- Ты услышь меня! Под окном стою я с гитарою! Так взгляни ж на меня хоть один только раз, ярче майского дня чудный блеск твоих глаз!

И продавщица действительно услышала, и выглянула из ларька, и взглянула. И чудный блеск её глаз был ярче майского дня, хотя уже был вечер. Может, блеск в её глазах нам пригрезился, потому что всем хотелось выпить. Она сказала:

- Ладно! Чего вам?

- Три бутылки верной мути и банку кильки! - важно сказал Кеша, протягивая ей десятку. - Сдачи не надо!

И она дала три бутылки вермута, который я терпеть не мог. Я не знаю, на чем настаивали тогда этот вермут! Тайна сия велика есть. Это был тихий ужас. Но других спиртных напитков в киосках тогда не бывало. Продавщица дала ещё бесплатно нам огромный огурец, видимо, выращенный на её собственном огороде, дала и соли в бумажке.

- Вы поёте прямо как артисты! - похвалила нас. Подозреваю, что больше всего ей понравился Кеша. Однако, на наше приглашение выпить с нами она ответила, что её ждут дети и муж.

Мы пошли по бору, гитара чудно звучала. Присели на лавку возле одинокой водопроводной будки. Гурий играл "Мой костер в тумане светит", а у меня в душе звучали обрывки чего-то из давнишнего концерта. Хор. "В лунном сиянье... динь-динь-динь, колокольчик звенит!"

- Парни, хорошо! - сказал Кеша, уже откупоривший складником консервную банку и все три бутылки с вермутом. - Мальчишник! Мы в жизни не допили, не догуляли! Меня из-за парты вытащили за шиворот, пнули - и полетел к врагу в тыл. Год воевал, а потом два года из меня осколки выколупывали. Женился, в шахту залез, а баба скурвилась. И уже здоровья нет под землей сидеть, и ни образования, ничего...

- Со мной та же история, - сказал Гурий. - Пацан ещё, а заставили за бандеровцами гоняться по лесам. Пуля не взяла, так в тюрьму заперли. Вышел - седина в бороде, четыре класса, три коридора и короед на руках. Вот и живи. И каждый debil, который свой ромбик зубрежкой добыл, смотрит на тебя, как на гниду какую.

Мы прихлебывали из бутылок, поддерживая некий баланс эйфории. Мы доставали за хвосты маринованных килек из банки, хрустели огурцом. Сосны тихо и

величественно шумели. Пахло хвоей, подсыхающими березовыми поленьями, цветами из ближних палисадников.

- Лепота! - произнес наш эсквайр Кеша. При случае он и по древне-русски мог. Чувствовалась начитанность.

- Славный посёлок! - подтвердил я. - Только работы тут нет. Я вот пошивочную охраняю. Литературой дорожа, ушёл в ночные сторожа.

- Была бы шея, хомут найдется, - заметил Кеша. - Но жить мне здесь нравится. Воздух какой! Бальзам! Эх! Хорошо сидим!

И верно. Мы и анекдоты травили, и о былых победах над женским полом трепались, вдаваясь в разные подробности, которые были бы немыслимы, если бы среди нас была женщина.

И Гурий, и Кеша рассказывали не просто анекдоты, а некую квинтэссенцию выдавали. Отобрав новеллы по принципу - одна из тысяч. Парадоксы, неожиданные ходы. И мастерское исполнение. Интеллект, артистизм - вот что это такое! Я испытывал истинное удовольствие.

Посёлок давно погрузился во тьму. Погасли последние окна. И вдруг раздался истошный женский вопль, и в доме на краю посёлка вспыхнул и вновь погас свет. И опять - крик ужаса, уже в два женских голоса.

- Бежим! - вскочил Кеша.

Кеша широко раскидывал длинные ноги, на каждый его шаг приходились три моих шага. Но я чаще перебирал ногами и потому почти не отставал.

У Гурия свистело в груди, словно воздух сифонил сквозь негодный ниппель. Он то и дело хватался за сердце, и мы оторвались от него очень скоро.

В доме, к которому мы бежали, вновь зажегся и сразу погас свет. Крики уже превратились почти в ультразвук. На обочине дороги в кустах мы заметили молоденького милиционера, он присел на корточки, так что его почти не было видно, и дул в милицейский свисток.

- Ты чего же, падла, свистишь! - крикнул Кеша. - Там, может, убийство! Соловей хренов!

Мы заскочили в ограду обычной усадьбы. Бочка с дождевой водой у высокого крыльца дома. Сруб колодца. Огород. В отдалении у забора - банька.

- А-а! - раздался в доме женский вопль.

- Прекратить! - гаркнул Кеша, - выходи, по одному!

И тотчас на крыльцо выскочили двое. Один сразу прыгнул с крыльца в сторону, пронёсся по темному огороду и перепрыгнул через забор. Другой кинулся прямо на Кешу, сжимая кастет. И наш эсквайр, обученный в армии боксу и самбо, не раздумывая долбанул рычагом снизу. Крепыш с кастетом от этого удара на лету перевернулся и вонзился головой в бочку. Кеша тотчас его вытянул за ногу, словно кильку из банки, и так, держа за ногу, понес в дом. Он включил там свет, увидел двух перепуганных женщин, молодую и пожилую, спросил у них веревку.

- Связать надо, пока не очухался! - пояснил Кеша. - Чего они от вас хотели? Насильники или грабители?

- Н-не знаем, - отвечала старшая. - Так страшно. Стучат- отпирайте, мол. Потом дверь с крючка сорвали, вскочили и давай за нами по комнатам гоняться. Мы вдвоем живем, я и квартирантка, учительница. Мы окно разбили, стали кричать!

- Собаку купите! - посоветовал Кеша, связывая руки крепышу. Тот уже пришёл в себя, пригрозил:

- Тебе, большой, не жить!

Явился молодой милиционер:

- Никак не досвистишься! Отделение далеко. Так! В чем дело?

- В шляпе! - ответил Кеша. - Я тебе налетчика уже связал, тебе только осталось в отделение отвести.

- Это ещё надо разобраться! - сказал милиционер. - Вы тоже пойдёте в отделение. Документы есть?

- Вот у меня документ! - сказал Кеша, - показывая огромный кулак. -Бери добычу и сваливай, понял? Соловей!..

Кеша спросил у хозяйки молоток, приладил оторванный дверной крючок, приколотил вместо выбитого стекла фанерку. Женщины боялись оставаться в доме одни, но Кеша сказал, что в одну и ту же воронку снаряд дважды не падает. А нам надо домой, к своим женщинам- их тоже надо охранять.

## 6. Двери зимы

Я не был доволен своё й должностью и жизнью в избе Колодяжного. Иногда я вспоминал о том, что где-то в мире вроде бы существуют Рио-де-Жанейро, Париж, Мадрид и вечный Рим. И в то время, как я лежу на порванном и свалывшемся матрасе в избушке, ощущая бугорок, давящий мне на простуженную почку, кто-то любит сеньоритами на балконах или статуями Микеланджело, или танцует танго на многосуточном карнавале, весь в фейерверках, рокоте тамбуринов и шелесте пальм.

Но кто я такой, чтобы мечтать об этом? Шестьдесят рублей в месяц - за охрану пошивочной. Даже если к ним добавить те двадцать рублей, которые обещал мне дать закройщик, в случае если я превращу две машины толстенных чурок в кучу тоненьких поленьев, всё равно этих денег не хватит доехать даже до Москвы!

К тому же за границу пускают только известнейших артистов, ученых и писателей, да и то далеко не всех. Виноват я в том, что родителям вздумалось зачать меня и произвести на свет в Сибири? И тридцать седьмой год и Отечественную войну не я придумал. Не я посадил отца, а потом отправил на фронт на погибель. Не сам себя я обрек на годы сиротства, на голод и холод.

Но я-то важнее всех на этом свете! Не было бы меня, так я бы и о других ничего не знал! Ни к чему не стремился бы. К чему может стремиться пустое место? Собственно говоря, без меня вообще не было бы этого света, не было бы жизни. Не было бы ни синьорин, ни фейерверков, ни тамбуринов. Совсем ничего! Но я как-то возник из пустоты. И ведь - стараюсь. По ночам пишу стихи и прозу. И отсылаю в Москву. И приходят ответы из десятков разных издательств и журналов, но как бы от одного и того же человека: "Благодарим Вас и сообщаем: ввиду того, что в портфеле редакции уже имеются материалы на поднятую Вами тему, опубликовать Ваше произведение не сможем..."

И мне иногда снился этот портфель, размером с двухэтажный дом, из крокодиловой кожи, и весь лопается от засунутых в него бумаг. А из иных редакций вообще ничего не отвечали. Очевидно, у них не было никакого портфеля и все

поступающие к ним рукописи они тут же спускали в мусоропровод или же просто выбрасывали в окно.

Гурий уехал в Томск, пригласив меня заходить при случае в его новую квартиру.

Кеша бегают с Мальвининым Костей по бору, оба на теле имеют лишь набедренные повязки, а в руках - луки. Эсквайр Курдаков со знанием дела изготовил настоящие боевые луки. Константин уже стал настоящим лучником.

Кеша, несмотря на свою могучую комплекцию, напоминает ребенка: азартен, капризен, обидчив. Они с Константином на озере ловят щук невиданным способом. Высматривают стоящую в воде щуку, и пускают в неё стрелу, к которой привязана суровая нитка.

Щуки эти огромные, опытные. Когда солнце хорошо просвечивало воду, они замирали недалеко от поверхности в зарослях травы, принимая солнечные ванны и в то же время зорко выглядывая добычу. Они опасались блесны и крючка, сетей, ивовых корчаг. Рядом никакой опасности не было, и вдруг в бок щуки стремительно вонзалась стрела!

А я всё чаще ухожу в бор. Бывало, забредешь в лесок в низине - там сосенки так тонки, что страшно за них: уж очень часто растут и до солнца трудно тянуться. Но больше всё же крепких стройных сосен. И я ищу грибы. Беру лишь белые. Хороши - и суп варить и жарить. И вот - брал грибы в ведерко, чьи-то коровы увидели меня и долго бежали за мной, думали: пришли их доить, либо пойло принесли.

И мне вдруг показалось, что это мои коровы! Но откуда? Какой-то атавизм. В сущности, все мы вышли из деревни, где пыль табунов и стад за околицей. Да что говорить. По историческим меркам совсем недавно мой дед по матери Иван Иванович, держал конный завод, где выводил рысистых орловцев. А я этих рысаков видел лишь в кино, а деда сроду не видал. И всё же. У всех у нас в душе живёт корова, лошадь, кошка и собака. У всех, даже если мы стали министрами и артистами. А я-то стал всего лишь сторожем. Сто рож! А почему не двести?

Я в тот раз мало набрал грибов. Думы обуяли. Решил съездить к Гурию, посмотреть его новую квартиру. Может, как-то пропишусь у него и получу должность в городе?

На вечернем пароме переправился я на другую сторону великой реки Томи. Я поехал поздно, чтобы застать Наталью и Гурия дома.

В прошлом все караваны и обозы со стороны Москвы, переправившись через Томь, первым делом попадали именно в Заисточье, где их ждали постоянные дворы, кузницы и каретные мастерские.

Можно сказать, что здешние жители как бы снимали сливки со следовавших через Томск обозов и караванов, и потому быстро богатели. Но это в прошлом. Лишь дух местных жителей напоминает о нем. Они были люди гордые, отчаянные. Лошадники. Собачники. Голубятники. Рыбаки и перевозчики. Подраться могут, а при случае и раздеть запоздалого прохожего.

А я как раз и был запоздалый прохожий. Я крался, прижимаясь к заборам, вздрагивая от каждого шороха и оглядываясь. Да! Здесь меня могут отделать почище, чем в тот давней вечер на берегу Томи неподалеку от шпалозавода! Ой,

движется какая-то громадная фигура! За ней - другая. Я различил в тумане лошадей. Целый табун, и все лошади в белых пимах. Вот почему они двигались беззвучно!

Одна из лошадей шепнула:

- Мы лошади Карым-бая!

Её морда была уже возле моего лица, я чувствовал запах пережёванного сена на её желтых зубах. Глаза её полыхнули двумя голубыми огоньками - и погасли, оставив пустые глазницы. Мимо меня бежали уже не лошади, а скелеты лошадей. И в этот миг из тумана выступил мавританский каменный дворец знаменитого Карым бая. Он весь - из сказок о Синдбаде Мореходе.

Было двенадцать обитых шелком комнат. Нелюбимые жены бая нарожали ему детей. А любимая, ученая и красивая не могла родить.

Табуны Карыма паслись за Томью-рекой, и было их больше, чем звезд на небе. Бай построил в Заисточье водонапорную башню и светскую школу. Он надевал офицерский мундир. Тройка уносила его по секретному подземному ходу под Томью на заречные луга. Увидев его, явившегося как бы ниоткуда, пастухи валились в траву и ползли, чтобы поцеловать его красные сафьяновые сапоги...

В свете молодой луны я прочел табличку:

МАКСИМА ГОРЬКОГО 3

Поднявшись по крутой, скрипучей лестнице, я отыскал на втором этаже этого дома квартиру номер 8. Постучал. И дверь тотчас отворилась.

- А-а! Брат! - воскликнул Гурий. - А я Наташку с работы жду. Уже хотел идти встречать. Да ладно! Сама добежит, тут рядом.

- Откуда добежит?

- Да тут кондитерский цех от конфетной фабрики. Она сейчас во вторую смену до часу ночи вкалывает.

- А ты - как? В клубе?

- Да нет. Это тебе не шпалопропитка. Тут, в центре всё большие Дома культуры. Тут меня не берут, у меня тавро на боку.

- И чем занимаешься?

- Дома сижу, учусь часы починять. Топор или лом мне не удержать, астма замучила. Вот и занялся точной механикой. Но пока доход - ноль целых, ноль десятых. Живу за счет жены, как истинный цыган. Сейчас бражки нацежу, вонзим по кружечке.

- Почему улице, где стоит дом Карыма, дали имя Горького? - спросил я.

- Не знаю. Может, потому, что жизнь у нас горькая?

В дверь постучали. Гурий скинул крючок, и вошла Наталья. Она сняла пальто и тотчас сунула руку в вырез своё го платья. Достала оттуда нечто похожее на желтую лепешку и шлепнула о стол:

- Твою мать! Совсем растопилось масло, бегу и чую: по животу течет!

- Горячая моя! - обнял её Гурий.

- Не лезь! Дай разгрузиться.

Она отвернулась от нас, а Гурий прокомментировал:

- Масло она сует меж грудей, а шоколад в трусы прячет. На вахте охранники не посмеют туда лезть. Психология.

- Станешь психологом, если хочешь детей прокормить! - отвечала Наталья, выкладывая на стол шоколадные комки, тоже немножко подтаявшие.



- У тебя, Натка, ляжки теперь - хоть облизывай! - пошутил Гурий.

- Они у меня ещё в зоне сладкие были! - ухмыльнулась Наталья. - Не зря же все лезли, как мухи на мёд!

- Ты говори, да не заговаривайся! - насупился Гурий, я тебе муха, что ли?

- Уж и пошутить нельзя! Хоть бы при брате характер не показывал. Кент психованный. На гулянке нос человеку откусил! Тьфу! Гадость!

- Кому откусил нос? - изумился я.

- Потомку Карыма! - неохотно сообщил Гурий.

- Алкаши позорные, перепьются и не ведают, что творят! - сказала Наталья.

- А не надо было ему из себя блатяка корчить!

Я представил себе бедолагу без носа. И поэта Гурия, пожирающего сопливый нос аборигена Заисточья. Меня передёрнуло.

- Ты не расстраивайся, - успокаивал меня Гурий. - Я откусил только самый кончик, и сразу же выплюнул.

- А если они тебя ночью встретят?

- Ну и что? Меня теперь всё Заисточье уважает. Я этим откушенным носом сразу в легенду вошел, поставил себя выше всех, понял?

Гурий разлил брагу в пол-литровые банки, и мы все трое вонзили по пол-литра мутноватой жидкости. Комковый шоколад был куда вкуснее магазинского, может, ещё и потому, что впитал аромат Натальино тела. Бутерброды из расплющенного меж Натальиных грудей масла так и таяли во рту. В своих мечтах я уже видел в своём паспорте жирный чёрный штамп прописки:

### МАКСИМА ГОРЬКОГО 3

Мне было весело и страшно, ибо об оконные стекла расплющились откушенные носы. Видимо, в эту ночь носы всех стран и народов, когда либо кем-либо откушенные, собрались здесь, чтобы поглядеть на Гурия, отчаянного носооткусывателя.

- Гурий! - спросил я. - Ты повесть Гоголя "Нос" читал? Я боюсь: придёт откушенный нос и загрызёт нас.

- Не загрызёт! - отвечал Гурий. - Утром мы с тобой дерьмо из сортира будем ведрами таскать, так провоняем, что никакой нос нюхать не захочет. Я подряд взял. Аккордная работа. Я всё за месяц вытаскаю. И получу почти десять месячных окладов. А если повезёт, так ещё и миллионером стану. Ты знаешь, почему говночистов золотарями зовут?

- Их правильно надо ассенизаторами называть.

- Правильно то, что народ придумывает. Ведь до Октябрьской революции во многих томских семьях много рассыпного золота хранилось. Когда-то прямо в черте города золото мыли. Потом комиссары возглавили город, и стали обыски творить, золото экспроприировать.

В Томске хоть и деревянные дома, но много больших, трехэтажных. И на всех этажах теплые нужники устроены. А внизу под ними - одна большая яма, метров пять глубиной. Вот купцы и прочие богатеи попрятали золото в кожаные мешки, да и утопили в таких выгребных ямах. Они ведь никогда до дна не очищаются, потому что слишком глубоки. Но золотари приспособились обшаривать дно специальными "кошками", случалось, что им везло. Я тоже на фарт рассчитываю...

Мы вонзили с Гурием по последней кружке браги, я лег на постеленную на пол возле печки-голландки собачью доху. Мне думалось о том, что в какое бы жилище я не пришел, я найду там особенный уклад, который отвечает желаниям и воззрениям на жизнь хозяев этого жилища. Свой мир можно строить, только имея собственный дом, пусть это будет даже жалкая лачуга. А иначе и дворец покажется клеткой. И что толку, если эта клетка будет золотая?

В полусне мне пригрезилось далекое детство, когда мы гостили у отца брата дяди Серёжи. Он жил на третьем этаже старинного деревянного дома. И был там, на третьем этаже, нужник. Это меня ужасно заинтересовало. У нас-то дома был дощатый сортир на улице. Это не интересно. Как будут падать мои отходы с великой высоты? Хотелось произвести эксперимент, но было нечем.

Праздник происходил в большой квадратной комнате: в простенках стояли тахты и комоды, в углах - сундуки, а посередине помещался длинный крашенный стол. За этим обширным столом я проявил особенную активность. Я таскал колбасу то с одной, то с другой тарелки, уминал холодец, почти не жуя проглатывал ветчину. Заметив это, мать ухватила меня за руку, увлекла в коридор, и там, отвесив мне очень солидную пощечину, яростным шепотом спросила:

- Ты - что? С голодного мыса сбежал? Тебя дома не кормят? Совсем оголодал? Хочешь, чтобы вся родня решила, что я замучила бедного ребенка, не кормлю его?

Я не мог ей объяснить своё поведение. Поместившись вновь за столом, я скромно сидел, как благовоспитанный мальчик, отказываясь даже от горячих котлет, повторяя:

- Большое спасибо, я уже накушался.

Но настал в этой гулянке такой момент, когда заиграл баян и пары закружились в вальсе. Иные гости о чем-то громко заспорили, кто-то рассказывал анекдоты. Вот тогда, что называется, под шумок, я продолжил своё черное дело. Я ел конфеты и заедал их тушеной капустой, сладкие ватрушки я перемежал с осетриной, густо намазанной горчицей. И мои старания принесли успех...

Окрашенный красной половой краской толчок с отверстием посередине напоминал огромного туза бубей. Заглянул я в дыру: глубина страшная! А не будет что-либо падать на головы людям сидящим в нужниках ниже меня?

" Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор!"<sup>1</sup> - запел я. И я тархтел, пыхал, покачивал крыльями, отдавал команду, и от фюзеляжа моего самолета отрывалась бомба и летела вниз на головы фашистов. И где-то там внизу, чмокала и взрывалась фонтаном. Это вам за прекрасную землю Испании! Рот фронт!

Вдруг кто-то громко забарабанил в дверь. Бомбежка прекратилась. В нужник заскочила мать, ухватило меня за ухо:

- Ты что тут делал, негодный мальчишка? Что делал? Я засекала время, ты просидел тут целых полчаса. Ну-ка сними штаны и покажи письку! Недоумеваю, я ей всё показал, она почему-то успокоилась. Я тут же мысленно произвел ее в фашистского шпиона, который сорвал запланированную операцию.

После я пытался у отца прояснить вопрос, почему люди сидящие в нужнике на третьем этаже не попадают на головы тем, что сидят этажами ниже? Отец пытался это объяснить, даже рисовал схемы. Но я так и не понял этой премудрости. Не понимаю даже теперь. На свете так много еще непонятного!

Я так и заснул с мыслями о далеком детстве. О мечтах, и волнениях, которые теперь кажутся глупыми и смешными. Но ведь тогда это тоже всё было всерьез: и боль, и гнев, и слезы, и радость иногда. Главное счастье на земле, это, видимо, когда ты не одинок. Надо чтобы кто-то сопереживал и твоим успехам, и твоим поражениям.

А наутро мы опохмелились с Гурием всё той же брагой. Наталья уже ушла на фабрику. Гурий надел старую грязную кацавейку и рваные заляпанные краской штаны, и меня обрядил соответствующим образом. Он пояснил:

- После эту одежду нужно будет сжечь или выбросить. Ничего! Нужны нетрадиционные решения! За пару дней, ну пусть за неделю, я заработаю годовую зарплату. И что, собственно, брезговать? Всё состоит из одних и тех же атомов, только они располагаются в разном порядке. Я нарочно приберегу этот калым на позднюю осень. Теперь прохладно и меньше миазмов, которые в просторечии мы именуем просто вонью.

Мы смело подошли к выгребной яме, оторвали доски и окунули в открывшуюся нашим взорам пенящуюся массу ведра, окованные для тяжести полосным железом. К дужкам ведер были привязаны веревки. Содержимое ведер мы выливали в несколько ям, выкопанных далеко от дома, за опустевшими огородами. За нами бегал Кадик и покрикивал:

- На своём говенном фронте, говночисты не филоньте!

- Поэт растёт! - ухмылялся Гурий, - чувствуешь?

Я думал о том, что не мешало бы этому поэту хорошенько надрать уши.

По Татарской улице, проходили татары и русские. И почуяв аромат нашей работы, многие из них прибавляли шагу и зажимали носы. И, как на зло, когда я отдыхал со своим жутким ведром возле ворот, по тротуару проходил мимо в белых фетровых ботах пахнувший одеколоном "Шипр" Ванька Бынин. Этот заисточный старожил, завидев меня, остановился и спросил:

- Чистишь?

- Брату помогаю.

Ванька оглядел меня с ног до головы сказал, что опаздывает в мастерскую. Мне было ясно, что он обо мне думает. И я заставил себя не расстраиваться. Я схватил ведро и просвистел мотивчик из оперетты "Сильва". Затем крикнул вслед Ваньке:

- Я Кальмана обожаю.

Бывший белильщик, а ныне часовщик, пожал плечами. Он, видимо, решил, что я совсем спился и у меня белая горячка.

Вообще-то человек ко всему привыкает. Это общеизвестный факт подтвердился ещё раз и на ассенизаторском фронте. Часа через три работы мы с Гурием совершенно перестали замечать вонь. Раз два мы забегали в дом и подкреплялись несколькими кружками браги, и закусывали салом и луком, даже не вымыв руки. Мы решили так: зачем их мыть, если мы ещё работу не закончили? Вот уж закончим смену, тогда и помоемся.

В это время возле ворот усадьбы отчаянно задудело авто. Мы с Гурием, как были, с грязными ведрами в руках, кинулись отворять ворота. В ограду въехало такси, а из него вылез франтоватый молодец, в котором я не сразу узнал Даромира. Гурий бросил ведро, кинулся, было, обнимать брата, но вовремя спохватился:

- Извини, Дарик, мы с Глебом все грязные, обниматься потом будем.

Даромир был в дорогом отутюженном костюме, в коричневом пыльнике, в галстук была брильянтовая булавка, на пальцах - золотые перстни, и когда он улыбнулся, то стало ясно, что и во рту у него сплошь - золотые зубы. Особенно меня поразили его ботинки: они были почти на высоких каблуках с серебряными пряжками и звенящими подковками.

- Прямо, артист! - похвалил его я. - Проездом из Баден-Бадена в Тынду-Тынду?

- Почти так! - отвечал Дарька. - Из Норильска прилетел на самолете в Красноярск, а уж оттуда до Томска добрался поездом... А одежда... что ж... нас, норильчан, снабжают. Наш Норильск, наш Баден-Баден, нам страной навеки даден!

- По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах! - пропел Гурий. И довольно оглядывая Дарьку, сказал:

- Забурел, забурел! Что ж, раз брат приехал, надо заканчивать работу и мыться.

Кадик сбежал с крыльца, подскочил к Дарику, подставил свою кепку:

- Богатенький дядя,

Насыпь монет не глядя!

- Копилку завёл? - спросил Даромир.

- Нет! В чикку<sup>1</sup> играть буду!

У меня ломило ребра и кости, я дышал, как загнанная лошадь. Не лучше чувствовал себя и Гурий. Но в яме, кажется, ничего и не убавилось. Возможно, что дерьмо само воспроизводило себя, сколько его ни вычерпывай его всегда будет ровно столько, сколько и было.

Мы пошли в сарай, который в этот день служил нам костюмерной комнатой. Там мы переоделись. Дарик щелкнул замком дипломата, под крышкой размещались шесть поллитровок.

- Удобно! - пояснил Дарик. - специально такой дипломат купил. В автобусе едешь, или ещё где, места он занимает немного. И - шесть бутылка! Стойма их там разместишь, и не бьются, и не звенят. Это вам не какая-нибудь авоська. Здорово?

- Зачем спешить? - сказал Гурий, - пойдём домой, там мы с Глебкой помоемся, и уж тогда... Там и закуска найдется!

- Нет! Вас надо немедленно продезинфицировать! - заявил Дарик.

Он ловко сорвал золотым зубом алюминиевый колпачок с бутылки. Хлебнул из горла и передал Гурию. Тот хлебнул и передал бутылку мне.

Я хлебнул и понял всю правоту Дарика. Тошнотный ком, сжимавший мне горло, вдруг исчез. Стало весело.

- Ты, Дарик, как посол какой или атташе! Видно хорошо зарабатывал в Норильске. Там, говорят, холодно?

- Не в этом дело! - сказал Дарик. - Там дома так построены, что можно пройти квартал, не выходя на улицу. И тройные рамы в окнах есть, и солярии есть. А чего много, так это блатных. Строят, ну и остаются жить после освобождения. Раз эта благодать прищучила меня в тоннеле меж домами. На гоп-стоп взять хотели. Стал спиной к стене с ножом в руке. Отмахивался, отпинавался. Их трое было. Одного я порезал, другой убежал, а третий гирькой на резинке мне передние зубы выбил. Но с

<sup>1</sup> Чика – игра при помощи монет

меня они взяли хрен да маленько. Не на того напали! Вот теперь ржавье<sup>2</sup> во рту таскаю.

Буылка опустела, мы вышли из сарая, Гурий сказал, что надо накрыть досками выгребную яму, чтобы в неё кто-нибудь ненароком не свалился:

- Яма два с половиной на шесть метров да и глубина метров пять. Свалишься - каюк.

Дарька сказал:

- Положи одну доску поперек ямы, я на той доске чечетку выбью.

- Смелый? - приподнял и без того высокую бровь Гурий, и положил здоровенную доску.

Дарька попробовал её ногой, затем, раскинув руки, прошёл на середину, доски, повернулся к нам лицом. Он стоял в лакированных с серебряными подковками ботиночках над коричнево-бурым зловонным омутом. Я представил, как он сейчас упадет туда, скроется с головой. Какая ужасная гибель!

Дарик легко, но удивительно четко выбил первую дробь, затем вторую. С каждой новой дробью он двигался по доске от середины омота к краю его. И уже спрыгнув на землю выдал особенно крутую дробь-концовку.

- Повтори! - торжествующе глянул он на Гурия.

Тот бледнел и багровел попеременно. Он сердито шевелил бровью, он положил руку себе на сердце. Я думал, что моего крутого двоюродного братца сейчас хватит удар. Ну, зачем Гурик его подначивает?

- Понимаю, вы устали! - пожалел нас Дарик. Брат Гурий со злобой поддел доску ногой, так что она свалилась в яму. И пошёл в дом.

- Ну, зачем ты? - пожурил я Дарьку. - У него же сердце больное, печень больная. Он тебя старше. Он тяжелее тебя. И вообще.

- А у тебя, что больное? - заносчиво спросил Дарик. Я ничего не ответил. Я стал таскать доски и накрывать яму.

Когда я вернулся в дом, Гурий и Дарик уже помирились.

- Тебя ждем! Яичницу зажарили, мойся побыстрее! - сказал Гурий.

Выпили. Закусили. Некоторая неловкость ещё висела в воздухе. Я решил её разрядить.

- Знаете, братцы, мне кажется человек создан творцом с большим изъясном. Зачем человек вообще ест? Переводит добро на дерьмо? Где тут логика? Можно же было сделать его, как приемник, питающийся от батарейки? Разве Бог не мог это сообразить?

- Не кощунствуй! - сказал Гурий. - Ты не можешь знать замысел Бога. Он, может, испытывает нас для нашего же блага.

- То есть, ты веришь в библейского Бога? Но ведь в библии столько несоответствий!

- Опять же это, видимо, так и было задумано. Так Бог эту книгу продиктовал. Специально. Чтобы человек терялся в догадках.

- Но зачем?

- А вот это уже не нашего ума дело.

Дарик поморщился:

---

<sup>2</sup> Ржавье - золото

- Ну что вы завели бодягу? Если есть Бог, он нам после смерти всё разъяснит, зачем он нас создал так, а не иначе. Давайте-ка двинем на шпалопропитку. Климбабая угостим, кочегара Кешку, киномеханика Ваньку, да у Гурия там, в самодеятельности бабенки были фартовые, я помню. Самое время склеить кого-нибудь, пока у меня в дипломате ещё четыре бутылки есть. Айда, пока Наталья с работы не вернулась, а то она Гурьку из дома не выпустит.

Кадик, вернувшийся с улицы с карманом, набитым выигранной мелочью, крикнул:

- Папка! С тебя рубль, чтобы я мамке ничего не сказал!

- Я вот тебе ремня дам! - отвечал Гурий.

Вскоре мы уже стояли на остановке вместе с огромной толпой граждан, желавших уехать на шпалопропитку. Дул ледяной ветер, прошло с полчаса, быстро темнело, а автобуса всё не было. Дарик сказал:

- Давай ещё поллитровку раздербаним, всё веселее время пройдет! - И он опять пустил в ход свой золотой клык.

Мы травили анекдоты, прихлебывали из бутылки, и нам было почти хорошо. Но хотелось ещё чего-то. Всегда нужно человеку что-то ещё, в дополнение к тому, что у него уже есть. Это относится и к богатым, и к бедным, и могучим, и к слабым людям. Вот и мы чего-то хотели. Куда-то стремились.

Автобус вывернулся из-за угла неожиданно. Люди полезли в автобус, в двери образовалась давка.

- Боком, юзом! - командовал Даромир, проталкивая нас с Гурием в дверь. Казалось, что втиснуться в автобус не было никакой возможности. Кондукторша привычно скомандовала:

- Ну, выдохнули все разом, я дверь закрою!

Мы с Гурием в самый последний момент как-то всё же вдавились в автобус. А Дарька сумел просунуть в дверь только правую руку, в которой был дипломат, и правую ногу. Сам же он остался висеть за дверью, защемленный ею, как капканом, в его левой руке была зажата почти пустая бутылка.

- Кондуктор! Человека дверью защемило! Остановите автобус. Откройте дверь! - вежливо попросил Гурий.

- Не хрен было лезть, пьянчуги проклятые! - ругнулась кондукторша. Буду я ещё из-за каждого алкаша автобус останавливать.

- Останови, сука! - Взревел Дарик. - Я под колеса падаю! Останови! Окно вышибу!

Кондуктор сказала:

- Одним алкашом меньше будет.

Раздался звон стекла, Дарик вышиб его бутылкой, просунул голову в салон. Кондукторша немедленно стукнула по этой голове кожаной сумой, тяжелой от переполнявших её медяков. Дарик успел укусить зловредную бабу за палец.

- Убивают! - завизжала кондукторша, - грабят! Иван! Тормозни возле милиции!

Как на грех, проезжали мимо отделения. Шофер подрулил прямо к крыльцу, otvorил дверь, выскочил, и вцепился в Даромира. Подоспели милиционеры. Пылкий Даромир вырывался, материл милиционеров и тем самым усугублял положение. Его закрыли в каком-то чулане с решеткой. Автобус укатил продолжать маршрут, а мы с

Гурием попытались выручить брата. Описывали ситуацию с защемлением Даромира дверью. Милиционеры отвечали односложно:

- Там разберутся!

Мы продолжали настаивать на освобождении узника. В какой-то момент я прочитал на лицах милиционеров решетку, замок, а может, и несколько тяжелых пинков в зад. Гурий, конечно, и сам грамотный, но от выпитого забыл в тот момент азбуку.

Я взял Гурия за руку и потащил его на выход. На улице я ему сказал:

- Завтра, когда продышимся!..

Наутро, чисто выбритые, пахнувшие одеколоном, пришли мы в ту милицию, и заняли позицию у двери в кабинет начальника отделения. Нас допустили к телу часа через три. Гурий начал объяснять: брат прибыл с вечной мерзлоты, в краткий отпуск. Кондуктор едва не загубила отпускника, и его же обвинили Бог знает в чем, и вместо того, чтобы отдохнуть, он сидит в темнице.

Начальник хлопнул ладонью:

- Хватит! Объяснять будете в суде, когда следствие кончится.

- Но товарищ начальник! - повысил тон Гурий.

- Гусь свинье не товарищ! - гаркнул милицейский.

- Простите, я не знал, что я гусь! - расшаркался Гурий. Я думал он сейчас боднет милицейский несгораемый шкаф своим могучим лбом, но Гурий лишь долбанул дверью так, что форточка в окошке жалобно всхлипнула. Я выскочил из кабинета и кубарем скатился по лестнице.

Гурия я не догнал, но на улице Горького меня остановил бывший белильщик, а ныне часовых дел мастер Иван. Сунул мне конверт:

- Я тебе ещё вчера хотел отдать, да уж больно от тебя воняло. Золотарем заделался?

- Аккордная работа подвернулась! - сказал я небрежно.

- Ну-ну... Так вот. Тёткатвоя Олимпиада нашла мою мастерскую, про тебя интересовалась. Оставила конверт, чтобы при случае тебе передал. Ну, бывай!..

Иван ушел, видно считал зазорным стоять со мной, золотарем. А я поспешно распечатал конверт. Быстрой канцелярской вязью там было написано: "Проездом в Томске. Узнала о твоей неприкаянности, немедленно приезжай к нам в Кемерово, поставим на ноги! Адрес: Динамическая 13.

Твоя тётя Липа!"

Я посмотрел письмо на просвет. Никаких водяных или иных знаков, которые бы внесли в дело ясность, я не разглядел. Тринадцатый номер - плохо. Хотя оригиналы утверждают, что это как раз хорошо.

Когда мне было пять лет, младшая мамина сестра Липа прожила зиму в нашем доме. За зиму она успела несколько раз сходить на каток, после чего у неё почему-то стал расти животик. У меня тогда был тоже полненький животик, и это никого не заботило. А тетин животик домашних возбудил. Из-за этого её живота, отцов брат, начальник телеграфа, перевёл её из города в дальнее село Кошевниково. Мне было жаль: тётя Липа приносила мне с работы много телеграфных лент, отличный серпантин! И вот - праздник кончился!

Через много лет я узнал, что в селе Кошевникове тётя срочно вышла замуж за местного парня. Он был мрачным и могучим, и во время войны дослужился до

старшего сержанта. Тётя называла его страшным сержантом. Потом я совсем позабыл и тётю, и сержанта. А они вдруг вынырнули из небытия, зовут к себе, хотят поставить на ноги!

Я не мог отбыть из Томска, пока Даромир находился в заточении. И мы с Гурием на другой день сходили в прокуратуру. Дело утряслось. Вместо пятнадцати суток Дарька отсидел всего два дня. После уплаты грабительского милицейского штрафа, денег у него осталось совсем мало, и всё же он дал мне на билет до Кемерово.

### 7. Дом на Динамической

Дом тетушки Олимпиады был на краю шахтерской столицы за глубоченными оврагами. Тут был посёлок с хаотично разбросанными постройками. Подходя к тетушкиному дому, я мысленно отметил, что выстроен он в стиле "вампир".

Входя в ограду, я оглянулся и наметанным взглядом определил отхожее место в дальнем углу двора возле оврага. Там не было ямы, и все отходы с помощью силы земного тяготения сваливались в овраг. Это было отрадно, значит, здесь-то уж мне не придётся заниматься очисткой.

Тётя Олимпиада хотя и постарела, была ещё бодра. Она меня расцеловала, и смахнула с ресницы слезу. Моей мамы уже не было на свете, зов родственной крови и у меня выжал слезу. Это наблюдал страшный сержант: смуглый, обрюзгший, с черными сверлами глаз и кустистыми бровями. Были тут двоюродные мои братцы: старший Валерка, семнадцатилетний, конопатый, длиннорукий, и младший - Сашулик, ласковостью напоминавший теленка.

На ужин была жареная картошка, с гарниром из соленой капусты и помидоров. Это вызвало гастрономический разговор:

- Силос! - сказала тётя Липа. - Сами растим. Теперь мой сержант опять Всё ест. А как желудок отрезали, с полгода жиденькую овсянку хлебал.

- Почему отрезали?

Пояснила: российская болезнь. У половины мужиков в России горло имеет слишком большой диаметр. Страшный сержант устроился на кавказской ЖД сцепщиком. Дали жильё. Уволили за пьянку. Переехали на станцию Луковка на Алтае, и там было казенное жильё. Сержант запил. Уволили. Куда деваться? Вспомнили про старшую тёти-Липину сестру и мою тётю Александру Ивановну. Её муж - хирург погиб на фронте, и она вышла замуж за врача-свердловчанина Злодеева. И он оправдал свою фамилию. Пять лет он колотил тётю Шуру, как хотел, а на шестой выгнал из дома.

Тётя Шура позвонила в Луковку тёте Липе. Договорились, что вместе купят дом в городе Асино. И купили. Но, по словам тёти Липы, избушонку. А денег у тёти Шуры - вагон и маленькая тележка. Но -чем богаче, тем жаднее. Силос есть она не желает, в огороде работать не хочет. Сидела целыми днями перед зеркалом со скальпелем и разными приборами, себе операции косметические по подтягиванию кожи делала. А самой седьмой десяток пошёл.

Поругались однажды. Схватила тётя Шура чемодан и отправилась с поездом Барнаул - Москва в неизвестность.

- Мы тот дом в Асино загнали, а здесь купили. Хоть и на краю города, но большой. У нас ведь мужики растут! - заключила свой рассказ тётя Липа.



- А ваш муж - молодец, желудка нет, а ест с аппетитом! - похвалил я главу семьи.

- Ты его хвалишь, а он не слышит. Оглох совсем. Фронтальная контузия, да меж вагонами как-то раз зажало. Он на губы смотрит, тогда понимает.

Постелили мне на печи. Было тепло. Хорошо зимой спать на русской печке!

Утром я попросил Валеру показать мне город Кемерово. По натуре я - путешественник, только вот здоровья нет, чтобы на слонах ездить.

Мы миновали два глубоководных оврага. Валера показал мне здание, возле которого стояли две пушки, я оседлал одну из них, брат сделал снимок.

Потом он показал мне дом с колоннами, выполненными в виде шахматных ладей. Затем на одном здании я увидел табличку:

#### УЛ. ВЕСЕННЯЯ

Как раз в это время мне пришлось подвязать под подбородком уши своёй старенькой шапчонки. Мороз явно крепчал. Валерик и в мороз ходил в кепочке - принципиально. Как выяснилось, он боксер-перворазрядник. Валерик должен был принять участие в зональных соревнованиях по боксу. Потому мы вскоре направились в пришахтный спортивный зал.

В городе пахло гарью, словно мы шли по гигантской остывшей печи, где-то вдали в небо взмывал клоч адского пламени.

- Правда, красивый город? - спросил Валерик.

Что мог я ему ответить? Он же не бывал в Томске.

В спортивном доме было много комнат, какие-то крепкие мужики здоровались с Валерой. В коридоре фехтовал кулаками известный всей стране боксер. Со зверским лицом лупил он воображаемого противника, отступал, наклонялся, шёл вперед.

Валера провёл меня в буфет и купил чашку кофе с молоком и три булочки:

- Жуй!

- А ты?

- Мне нельзя! Я целую неделю в тулупе и с мешком песка на плече бегал вокруг слободки, чтобы сбросить вес и войти в свою весовую категорию.

- А почему в другой категории быть нельзя?

- Долго объяснять. Ты ешь, потом поднимайся на смотровую галерею. Меня ты увидишь на ринге, примерно через час.

Я закурил, и не торопясь, стал подниматься на смотровую галерею. И вдруг лицом к лицу столкнулся с тётёй Олимпиадой и Сашуликом.

- Вы тоже ходите смотреть? - изумился я. - Не страшно?

- Сначала было страшно, теперь не очень, - сказала тётя Липа. - Человек ко всему привыкает. Я его сюда отдала, чтобы с хулиганами не знался и себя держать мог. И так рада: не пьёт, не курит.

Бои шли одни за другим. И я как-то не сразу понял, что Валера - уже на ринге.

- Лерик! Врежь ему! Врежь! Справа! - взвизгнула тётя Липа. И я догадался: наших бьют! Всё-таки, форма, ринг, создают обстановку, в которой даже брат кажется каким-то пришельцем с Луны. В синих трусах и майке с красными полосами Валерик смотрелся красиво, как в кино. Я видел, что его противник более взрослый, хоть и редко, но достаёт Валеру тяжёлыми ударами. Валера же молотил

соперника своими длинными руками непрерывно. Его руки напомнили шатуны паровой машины.

Давно, до Отечественной войны, мы ехали на пароходе от Томска в Кошевниково, чтобы навестить тётю Липу, вышедшую в этом селе замуж. По случаю жары окошки в машинное отделение были открыты, и я видел, как промасленные шатуны ходили взад-вперед, являя собой полированное великолепие и мощь.

Тогда в Кошевникове, мне было шесть лет. Остались в памяти гуси на берегу Оби, злобно шипевшие, и норовящие ущипнуть меня за ляжку. Запомнилось, как муж тёти Липы дядя Андрон, по спору с моим отцом переплыл Обь. Она так широка, что противоположного берега не видно, и мы потеряли Андрона из вида. И тётя Липа ругалась. Но потом мы разглядели, как на противоположном берегу в знойной дымке он махал нам жердиной. И ещё запомнилось, как дядя Андрон дрался один с пятью деревенскими парнями. Он и сам был весь в крови, но им всем носы разбил. От него-то Валерка, видно, унаследовал силу и длиннющие руки. У меня они такие короткие, что не то, что боксом заниматься, но почесать спину не могу.

О! Длиннорукий Валерий сейчас нокаутирует низкорослого крепыша!

Каково же было моё удивление, когда судья после боя поднял вверх не Валерину руку, а руку того коротышки!

- Судью на мыло! - тонко заверещала тётя Липа.

- В Москву жаловаться буду! Я журналист! Мало не будет! - неожиданно для себя стал я тыкать рукой в сторону арбитров.

Вскоре на галерее появился Валера. Он сказал:

- Ну чего вы расшумелись? Он был точнее. Он и победил.

- Ага! Он тебя раз пять ударил, а ты его раз двадцать навернул, избил всего! Я же видел! - орал я. - И он - победил? Да за это судью не то что на мыло, на гуталин переработать надо!

- Не шуми зря. Я несколько раз его ударил открытой перчаткой... А это запрещено. Короче ты в боксе пока не фурычишь, но я тебе потом объясню.

Тётя Липа с Сашуликом отправились домой, а мы с Валерием решили ещё побродить по городу. Зашли в кафе и съели по толстенной куриной ноге, к которой дали кучу гречневой каши, политой маслом. Потом мы долго бродили по городу, но, во-первых, было холодно, во-вторых, кемеровские расстояния меня измотали.

- Ладно, - сказал братец, - подскочим на трамвайчике поближе к нашим оврагам.

Мы зашли в трамвай, сели неподалеку от двери на скамью. Брат был задумчив. В это время кондуктор просила некоего приклатненного дядю, чтобы он купил билет. Тот грязно выругался. Брат сказал:

- Извинись сейчас же, скотина!

- А-а! Шлифты выткну! - выставил два пальца блатяк. И тотчас получил удар в челюсть. Ошеломлённый, он поднялся с пола, достав из кармана перочинный ножик, суетливо пытался вытащить лезвие. Валерий сбил его вторым ударом, да так, что мужик отлетел к противоположной площадке. В этот момент открылась дверь, мужик в неё вывалился. Дверь закрылась, трамвай тронулся, и только тогда блатяк закричал:

- Студент! Я тебя запомнил! Студент! Теперь тебе не жить!

Когда мы вышли на своё й остановке Валерий сказал:

- Боксёрам в быту драться нельзя. Это я так, случайно.

Морозный ветер разгонялся на базарной площади, и приходилось втягивать голову в воротник. И тут я увидел пятерых кудрявых молодых цыган без шапок, в одних шелковых рубахах, они бежали, прихлопывая ладошками по сапогам. Один спросил нас:

- Мужики, где тут павильон водкой торгует?

- Валерик показал им, куда идти, и спросил:

- А вы откуда?

- Из совхоза!

- Так ведь далеко!

- Где - далеко? Всего семь километров. Выпивали - не хватило.

Цыгане растворились в пурге. А брат сказал задумчиво:

- Живёт кошка, живёт и собака...

## 8. САНИТАРНЫЙ ЭТЮД

Утром тётя Липа уходила на работу, на телефонную станцию. Валерик шёл в техникум, где его обучали на шахтного электрика. Страшный Сержант почти весь день спал, Сашулик был в школе, а я сидел над рукописью. Всё, что я писал, было фальшивым, потому что невидимый цензор стоял где-то за моим плечом, и если я осмеливался написать какую-то правдивую фразу, он шипел прямо в ухо:

- А вот это я всё равно вычеркну. А будешь писать не то, что надо, я на тебя настучу куда следует!

Я в отчаянье бросал ручку. И тут просыпался страшный сержант, плескался под рукомойником, поглядывая в мою сторону:

- Скребешь? И сколько тебе за эту бодягу заплатят? У нас тут Волошин-писака главнейшую премию получил за роман. Так он в бору на ветках развесил выпивку и закуску, и каждый желающий срывал с одной ветки поллитровку, а с другой - кольцо колбасы! А ты как книжку напечатаешь, озолотимся, а?

Ну, если что на ветках будешь развешивать, так мне это теперь без надобности. Пить нельзя. Мы с одним в палате лежали. Одинаковая операция была. При выписке нам обоим дяденька доктор сказал, мол, не берите в рот ни грамма, если, конечно, жить хотите. Желудки я вам удалил, больше вырезать нечего. Да. Через месяц встречаю того друга. Спрашиваю, как, мол, дела. Он хвалится, стал выпивать понемножку красное винцо, хорошо идет. Да... Через полгода его встретил, а он уже и на белую перешёл. А ещё через полгода некролог в газете был. Доктор-то верно предупредил. Вот и не пью я. Тоска. А что делать?

Я смотрел на него. Вспоминал, каким он был до войны. Загорелый, как негр, в белой майке, прямо таки - спортсмен с плаката. Чуть притатаренное лицо было симпатичным. Жгучие глаза тогда ещё не завалились глубоко и не смотрели так демонически, как теперь. Помню, я тогда думал: зачем он женился на тёте Липе с её длинным носом, конопушками и клочковатыми волосами? Теперь он выглядел престарелым Соловьём-разбойником из фильма-сказки режиссера Птушко.

Вечером страшный сержант и тётя Липа долго бубнили закрывшись в спальне. До русской печи, на которой я лежал, долетали обрывки фраз:

- В суд. Половину стоимости дома ей...как бы не так...
- Пронюхала... Кемерово...
- ... Большого ума...Врачиха хренова! Харю заштопала...

Утром тётя Липа дала мне листок, на котором написала:

Продается дом-особняк.  
Две комнаты и кухня,  
Кровля железная.  
Обращаться ул. Динамическая, дом-13,  
после 6-ти вечера

- Вот, размножишь, сделай не меньше тридцати экземпляров, возьми клей, расклеишь на видных местах - на столбах, на стенах магазинов, на базаре.

- Дом продадите, а где жить будем? И зачем вообще продавать?

- Зачем, зачем? Вечно, что ли, в назьме ковыряться будем? Валерий на шахте работать будет, сейчас много благоустроенных квартир сдают. Владельцам собственного дома квартира не светит. Продадим. А сами будем у соседей избушку снимать. Перебьёмся...

Она ушла, а я расстроился. Опять - избушка! Да у Колодяжного-то я в избушке один жил, а здесь будем - впятером, о каком творчестве речь? Вот так поставила меня тётя Липа на ноги!

Тётушка ушла на работу. Я вздохнул, обмакнул в чернилку перо и принялся размножать объявление. Я переписал всего три экземпляра, но уже устал и духовно, и физически. И мне пришла в голову мысль подойти творчески к тётушкиному заданию. Я написал объявление в стихах!

Здесь продаётся особняк,  
с усадьбой, с летним туалетом,  
дерьмо само зимой и летом  
по склону катится в овраг.  
Запомни: крыт железом дом,  
две комнаты и кухня в нём.  
Сумеешь дома нас найти  
на Динамической тринадцать,  
ты вечерком после шести,  
пожалуй к нам поторговаться

Мы с Сашуликом и со страшным сержантом Андроном увлечённо играли в лото, когда в кухню ворвалась возвратившаяся с работы тётя Липа. Сердце моё упало: я увидел в её руках с десятков моих стихотворных объявлений. Приклеил я их прочно, потому что тётя Липа оторвала бумагу вместе с частицами заборов и столбов.

- Что это? Издёвка! Позор перед людьми. Ему поручили важное дело, а он... Теперь все будут знать адрес, где идиоты живут! Засмеют! Вот так помог!

- А что? Чем рифмованное объявление хуже простого? Я же все параметры отразил: и то, что - две комнаты и кухня, и что - крыша железная, и что - усадьба. И адрес указан.

- Адрес! Ты думал, что рифмуешь? *"Дерьмо само зимой и летом по склону катится в овраг..."* - продекламировала тётя Липа.

Я был горд: всё -таки мои стихи запоминаются. Решил защитить своё творение:

- Но это же для рифмы! Особняк - овраг. И ведь, действительно - скатывается.

- Молчи! Аж голова заболела. Меня в посёлке люди уважали. А ты теперь меня и мою семью в дерьме вывозил. Идите сейчас же с Сашуликом, и срывайте все остальные объявления, пока все не сорвёте, даже не возвращайтесь!

Сашулик схватил с вешалки телогрейку, нахлобучил собачью ушанку и, на ходу засовывая ноги в валенки, схватил со стола изрядную горбушку хлеба. На улице он разломил горбушку хлеба пополам, сунул мне ломоть:

- Держи! Знаешь, как на морозце всухомятку хлеб идет? Лучше пирожного!..

Бураном перемело все стёжки-дорожки, идти было убрдно. Я ещё плохо знал город, и теперь уже не помнил, где именно расклеил проклятые объявления. За час нашли лишь одно объявление. Я знал, что в темноте тут ходить опасно.

Сашулик сказал:

- Придумал! Сейчас зайдем к моему приятелю, и ты напишешь штук десять объявлений в стихах. Обратную сторону бумаги промажем клеем. И всё , домой пойдём, она успокоится.

Вскоре мы уже возвращались на улицу Динамическую и одиннадцать стихотворных объявлений были у меня в кармане.

Сашулик вдруг сказал:

- Глеб! Ты уезжай от них! Они о тебе плохо говорят!

Я опешил:

- А что именно? Сама же мамка твоя меня сюда пригласила.

- Мало ли что пригласила! Они и тётю Шуру в Асино пригласили, она на свои денежки дом купила, а они её выжили. Тоже плохо говорили, дескать, психопатка, дура, то, сё...

- Ну, меня-то психопатом не называли?

- Зато говорят, что ты нахлебник! Ты пишешь, а они не понимают. А я думаю: ты - как "В людях" у Горького, я читал, такая мировая книжка. Ты вот объявление в стихах написал, а попробовали бы они так зарифмовать!

- Да я вообще-то заглядывал в здешние редакции, пока мест нет, просили подождать, вот я и жду! Я же об этом тёте Липе говорил.

- Вот! Говорил! А они всё равно! И папка ворчит, что попало про тебя выдумывает. Нет, Глеб, я тебя люблю, я тебе точно говорю - уезжай, с ними тебе не ужиться.

- Да как же ты про родителей такое можешь говорить?

- Могу! Натерпелся. Ты уезжай, а потом я к тебе перееду. Я тебе точно говорю!

- Ты об этом и думать забудь! От родителей не уезжают. Без них и тебя бы не было. Кроме того, у тебя ещё детский максимализм: всё или ничего. А в жизни так не получается.

- А вот ты увидишь, что я был прав! - сказал он и насупился.

Через неделю тётя Липа сказала, что пиршество в бору, как писатель Волошин, я, видимо, устрою не скоро. По этой причине она мне поможет устроиться

на работу. В редакциях у неё знакомых нет, а в одном учреждении неподалеку у неё знакомый начальник. Там меня устроят в два счёта, тем более, что работа мне - как бы по профилю.

- Как это - по профилю? - заинтересовался я.

- Санитаром будешь в психолечебнице.

- Какой же тут профиль? - спросил я, понимая впрочем, что это намек на происшествие с объявлениями. - Какой профиль? И как же я с сумасшедшими управлюсь? Я что - борец Бабмула? Их же связывать надо будет, они укусят могут, или вообще задавят. У психических сила бывает бешеная, я читал.

- Вот уж сразу и испугался. Я же тебя по благу устраиваю. Тебя поставят к умственно отсталым. Они спокойные. Там и делать-то ничего не надо, сиди себе, приглядывай, как за малыми детьми. Врачи там есть всех профилей, почки подлечишь капитально. Оклад хороший, да ещё бесплатно питаться будешь с больничной кухни. И время свободное будет: сутки отдежурил, двое отдыхаешь. Разве же плохо?

- Попробовать, конечно, можно. Но если меня там задавят, это будет на вашей совести.

- Нужда хуже задавит. Этого ты не боишься? Ты уже Валеркины старые валенки донашиваешь. А дальше что будет?

Что было сказать? Я согласился.

Больница оказалась целым городком за высоченными дощатыми заборами. И тётя Липа была права, что работа это непыльная. Никто из больных и не думал меня душиить. Я только должен был им напоминать, чтобы они вовремя принимали прописанные им лекарства, не выливали микстуры в цветочные горшки, не относили в туалет и не прятали таблетки за щекой, чтобы потом выплюнуть. Большинство из них были острижены наголо и напоминали престарелых новобранцев. Но никто из них не заявлял, что он - Наполеон, или, скажем, марсианин. Я сказал как-то санитару-сменщику, что больные в нашем отделении ничем не отличаются от здоровых людей.

- Не скажи, - ответил он, - у нас в отделении даже человек-чемодан есть.

- А кто именно?

- Сам догадайся.

Сколько я ни всматривался в больных, кто из них воображает себя чемоданом - определить не мог.

Находясь на работе, я успокаивал себя: шизофрениками были Достоевский и Гоголь, и, вроде бы, Вильям Шекспир. Один из психиатров уверял меня, что знаменитая пушкинская Болдинская осень, не что иное, как шизофренический криз, будто бы так и в медицинских учебниках написано. И я в душе восклицал: боже мой, ну, почему я не шизофреник! Почему слова из-под моего пера выходят расплывающиеся и корявые? Разве я их пишу пальцем на промокашке? Конечно, психиатру я о своих мыслях даже заикнуться не мог, в таком случае из служащего психолечебницы я тотчас мог бы оказаться её пациентом.

Я знал, что в соседних отделениях иных пациентов даже привязывают к кроватям. Но в нашем-то люди были тихие. Меня предупредили, что я должен быть с ними строг, но корректен, больные - они тоже люди. Я и не возражал. Наши пациенты увлечённо делали бельевые прищепки в комнате для трудотерапии.

Терпеливо ждали обеда, ужина и отбоя. Кормили их, кстати, по традиции таких заведений хорошо. Они многого в жизни лишены, так пусть хоть покушают. Были в меню и мясные котлетки, пекли для психов и булочки сдобные. Потрапазничают - и бегут в туалет: покурить, за жизнь потолковать.

Раз я забыл купить курево, и решил попросить его у кого-нибудь из пациентов, взаимобразно, конечно. Забежал в туалет. Спросил. Голубоглазый красавец Витя, похожий на древнегреческого философа, протянул мне целую пачку "Прибоя":

- Берите всё, курите на здоровье! - сказал он.

- Что вы, себе-то оставьте!

- Мне ещё дадут! Когда меня отпустят отсюда, я уеду на Цейлон, на Мадагаскар или на остров Борнео. Там ещё есть места, куда не ступала нога человека, там с единомышленниками мы будем ходить обнажёнными, есть плоды, падающие с деревьев, и отдавать всё, что у нас попросят, потому что и нам тоже будет отдавать всё любой член общины, по первой просьбе. Таким и был первобытный рай. Хотите, я и вас возьму туда с собой?

Я подумал об ашхабадском лекторе. Что он сказал бы, если бы услышал это? Оказывается вопрос о жилище и пище решить можно так просто.

- Ну а если плоды не будут падать с деревьев? - спросил я.

- Почему же не будут, если Ньютон открыл закон земного тяготения?..

Очкастый Вася, которого за удобу и очки я мысленно прозвал Студентом, сказал:

- Скорей бы зима кончилась. Летом будем на лавочке в палисаднике курить.

Он вздохнул и добавил:

- Завидую вам, фельдмаршал. Каждый день по городу ходите.

- Хожу, так что?

- Как? Если всё время под ноги смотреть внимательно, можно найти кошелёк или просто крупные купюры где-нибудь у забора в траве, или возле магазина.

- Да кто же их там бросит?

- Каждый день теряют, это и из газет известно. Даже бюро находок есть. А если много дней ходить и внимательно смотреть под ноги, обязательно что-нибудь ценное найдёшь... Вы уж мне поверьте, не зря же я столько лет изучаю "Основы ханжеской морали и научного разгильдяйства".

"Шутник, однако, - подумалось мне, - вот и называй после этого их ненормальными!"

В разгар весны меня послали сопровождать группу из пяти больных в городскую клинику, где они должны были пройти какой-то особенный рентген. Были в этой группе и Философ Витя, и Студент Вася.

Мы вышли из ворот, я попросил пациентов:

- Ведите себя достойно, братцы, не подведите меня!

- Не подведём! - заверил философ. - А уж как я вылечусь, я обязательно увезу вас на Суматру, в девственные леса!

- Ладно, согласен! Только кто же нас за границу пустит!

- Оформим как туристическую поездку, - ни секунды не задумываясь ответил он.

Я заметил, что Вася вовсе не смотрел себе под ноги, а оборачивался вслед каждой встречной женщине.

Мы доехали до клиники на трамвае. Нашли рентгеновский кабинет. Больные расселись на обшарпанных скамейках, ожидали своей очереди, я похаживал по коридору, присматривая за своими психами. Время тянулось томительно. Да что за ними присматривать? Мой двоюродный брат Гурий откусил человеку кончик носа, но никто за ним не присматривает, кроме жены. Я вздохнул. Интересно, как он там? Закончил свою аккордно-премиальную работу по очистке грандиозной выгребной ямы? Вспомнилась и Мальвина с её гигантским возлюбленным.

Мне надоело переминаясь в коридоре, и я вышел покурить на крыльцо клиники. В воздухе уже ощущалось струение некоего флюида, возможно, прилетевшего сюда с острова Борнео. Я вздохнул. Да, хорошо бы без рубахи и без штанов лежать на траве в тепле, среди пальм, и ждать когда в рот свалится банан...

- Где этот ядреный санитар! Где он? - прокричал старичок в приоткрытую дверь. - Курит, прокладается, а его больные людей убивают!

И тут же до меня донесся истерический женский визг. Кричали сразу несколько женщин. Всех их убивают? - подумалось мне.

Я вскочил в коридор клиники, ожидая увидеть на полу гору трупов и лужи крови. Но этого не было. Совершалось нечто ещё более ужасное. Философ, студент и ещё два моих пациента, спустив штаны, свирепо и с большим пафосом, сопением и рычанием терзали в кулаках свои, напряженные до предела, мужские премудрости, направляя их в сторону симпатичных девушек, и женщин. Пожилая тетка синем халате, очевидно, местная техничка, ударяла шваброй по спинам, по головам психов. Но они целеустремленно продолжали своё гнусное дело. Визг женщин и технички превратился уже в ультразвук, когда скамьи были орошены горячим продуктом неутолённой страсти сумасшедших.

- Прекратить! - завопил я, хотя и понимал, что моя команда, как минимум, опоздала.

- Тюрьма тебе, санитар! - тыкала в меня техничка шваброй. - Сволочь! Бери тряпку, вытирай своё добро! Я теперь полмесяца блевать буду, ой, матушки, тошнит!..

Женщины с воем метались по коридору.

- Мои все одеваться, и за мной! - скомандовал я, - понимая, что если даже всю эту клинику вымою добела горячей водой с добавлением хлорки, репутацию санитара мне уже ничем не отмыть.

На улице я принялся материть своих подопечных. Студент Вася примирительно сказал:

- Генералиссимус! Ты пойми. Где мы ещё таких сладеньких увидим? Сидим в палате, как жуки на иголках. Годами сидим, генералиссимус!

В это время возле нашей компании притормозил грузовик-фургон с надписью "Продукты". Дверь фургона отворилась, оттуда появились два дюжих санитара, укоризненно посмотрели на меня, а больным сказали:

- Ну, давайте быстренько все в фургон и сидите смирно. Отсюда про ваши выступления нашему главному звонили. Он обещал вам всем нестоячку сделать. Такое вколют, что сквозь баб будете смотреть, как сквозь стекло.



И мы помчались, сидя на лавках внутри фургона с надписью "Продукты". Философ сказал:

- А это правильно, что нас везёт машина с такой надписью! Мы все есть продукты своего времени!

- Умолкни, хмырь! - прикрикнул на него могучий санитар.

В тот же день меня уволили.

Ещё какое-то время я подрабатывал на сортировке картошки в каком-то овощехранилище.

И пришло лето. И вот на кемеровском вокзале я ожидал поезда. Я думал: в Томске была отцова родня, здесь - мать, там были почти сплошь брюнеты, здесь - белокурые бестии (за исключением Страшного Сержанта, который мне родня, но всё -таки не родня), и нигде мне нет приюта? Родственники плохие? Или дело - во мне?

Я так и не решил этот философский вопрос, ибо, пыхтя и сопя, на первый путь выкатился мой поезд. И начались обычные тревоги: вдруг моё плацкартное место уже занято? Вдруг соседи по полкам станут пить, шуметь, а ночью будут страшно храпеть? Но ехать было надо.

Пока я тут смотрел бокс и лечил психов, тётя Шура нашла меня через адресные столы. И как раз в день моего увольнения из лечебницы я получил вызов на телефонные переговоры. Хорошо, что ни тётя Липы, ни Страшного Сержанта дома не было. Бумажку получил Сашка. И когда я вернулся домой, он вызвал меня во двор и заговорщицки зашептал:

- Тебя тётка Александра на переговоры зовёт. Ты попросись к ней, она богатая, я тебе точно говорю, будешь жить с ней и повесть сочинять. А умрет, так и всё наследство получишь. Я тебе точно говорю...

Связь с посёлком в Свердловской области, где жила тётя Шура, была плохой. Голос её едва прорывался ко мне, но я понял, что она ругает тётю Липу. И зовёт меня к себе. О боже! Что делать? Тётю Шуру я в последний раз видел, когда мне было двенадцать, я про неё почти ничего не знаю. Вдруг попаду из огня прямо в полымя?

Когда я брал у тётя Липы домовую книгу для выписки, то сказал, что возвращаюсь в Томск, что мне дают там работу в газете. И просил меня не провожать.

- Как знаешь! - поджала губы тётя Липа. Страшный Сержант промолчал, а Валерка в день моего отъезда стучал где-то по груше в спортзале. Так что с ним я и не попрощался.

"Мы оба одинокие, нам сам Бог велел держаться друг за друга", - звучал у меня в голове голос тётя Шуры, когда я садился в вагон

Провожал меня только Сашулик. Он долго бежал за вагоном и махал шапкой. Потом замелькали всякие железнодорожные столбы, светофоры, прожектора, Сашулик исчез. Поезд прогрохотал по мосту, и город остался позади.

## 9. ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

Сначала я приехал в Свердловск. Я люблю разглядывать незнакомые города, вот и по Свердловску побродил немного. В центре я видел дом, в котором

расстреляли Романовых. Дом как дом. И при его осмотре я не испытывал никаких чувств. Романовы, небось, никогда в жизни не были без квартиры. Хотя, конечно, очень жаль симпатичных девушек и больного гемофилией мальчика. Угораздило их родиться в царской семье.

Вообще человечество творит столько непотребностей, а ведь дело-то простое, его мне когда-то объяснил ашхабадский лектор: не хватает на всех жилищ и пищи. И никак всё это не поделишь по справедливости.

Насмотревшись на свердловские пейзажи, я пошёл на вокзал.

Через полчаса я уже был в посёлке, где жила тётушка. Перешёл по металлическому висячему, шатающемуся мостику, каких в Сибири я никогда не видывал, полез в гору, спрашивая всех встречных-попечных, где тут улица Лесная под номером шестьдесят шесть?

Синеглазая худенькая девица сказала, что идет именно туда. Мы пошли вместе. Я спросил, не живёт ли она с моей тётушкой по соседству?

- А где живёт ваша тётушка? - осведомилась девица.

- Да где? На Лесной, шестьдесят шесть, там у неё дом или квартира, я точно не знаю ещё.

- Нет там ни дома, ни квартиры! - огорошила меня девица. - А как фамилия вашей тёти?

- Прежде она была Сафронова, но по новому мужу она теперь - Злодеева. Фамилия, конечно, не самая лучшая. А зовут её Александрой Ивановной!

- Я её знаю, - сообщила мне спутница. - Она была врачом в нашей больнице, а теперь лежит в ней с инсультом и параличом конечностей. Разве вы не знаете? Лесная шестьдесят шесть - это адрес посёлковой больницы.

- Но тётя Шура мне говорила, что у неё тут квартира. Может там, при больнице, её квартира и есть?

Девица огорошила меня сообщением, что никакой квартиры у тётушки нет. С мужем, Семеном Ильичом Злодеевым, хирургом этой же больницы, они сильно ругались. Тогда Александра Ивановна уехала от него к родственникам в Сибирь. Через год с лишним почему-то вернулась. Когда сошла с автобуса, ей сказали, что Злодеев уволился, квартиру сменял на Челябинскую область и уехал. У неё получился инсульт.

Я пришёл в больницу, меня провели в палату, где на кровати сидела обложенная подушками седенькая, маленькая старушка, с омоложенным операциями лицом. Глаза тёти Шуры, впрочем, смотрели живо.

- Приехал! - сказала она. - Прекрасно выглядишь! Лучше, чем я ожидала.

Что мог я ей сказать? О, эта эксцентричная Карунинская порода! Взглянула вот, вызвала меня, а зачем, спрашивается?

Тётя Шура как-то прочла мои мысли:

- Вот что. Вызвала я тебя не зря. Грожу Злодееву судом. Темнит: мол, его квартиру разменять невозможно. Дам денег, ты съезди в Челябинскую область, там посёлок около Кыштыма и озера Аркачай. Вот адрес... Да не хмурься. Посмотри там. Злодеев живёт в трёхкомнатной. Пусть разменяет так, чтобы у нас была однокомнатная... Ты же понимаешь, что она тебе достанется? Да будь с ним построже...

Что мне оставалось? Почему не посмотреть ещё и Челябинск, в котором сроду не бывал?

Я сел на поезд, который прибывал в Челябинск утром. На рассвете вышел из вагона и гордо огляделся. За сутки посещаю второй великий город! Ливингстон! Или, по крайней мере, Пржевальский.

Я по своё му обыкновению пошагал от вокзала к центру пешком. Всё равно кафе и столовые ещё не открылись, а ждать да догонять - хуже всего. Пока иду, люблюсь пейзажами, время и подойдет.

Была жара. Незнакомые деревья буйно зеленели в парках. Я останавливался возле домов с мемориальными досками, забредал в скверы, где стояли памятники. По стене гигантской чаши стадиона были расклеены плакаты: "Скобликова! Скобликова! Скобликова!" Видно, забыли их соскоблить. "Соскоблите Скобликову!" - мысленно прокручивал я фразу.

У дверей одной из столовых я увидел изрядную очередь, спросил последнего, и тоже стал ждать, есть так хотелось! Некоторые очередники не вытерпели, стали стучать в дверь ногами. Мужчина, напомилавший Жака Паганеля из знаменитого романа Жюль Верна, протирая маленькие очёчки, громко и с надрывом сказал:

- Торопитесь! Спешите нажраться отравы! Чем скорей нажрётесь, тем скорей сдохнете!

Попав в столовую, и поглощая вкуснейшие сырники со свежайшей сметаной и запивая их вполне сносным кофейным напитком, я подумал про этого Паганеля - какой привередник! Видно, избалован жизнью! В Томске, к примеру, таких сырников ни в одном кафе не найдешь. После завтрака я зашёл в универсальный магазин, и тоже был восхищён. Почти как в московском главном универмаге! В музыкальном отделе интеллигентного вида старичок выбирал губную гармонику. Он брал то одну, то другую гармошку и наигрывал мелодии из популярных оперетт. Это было изумительно! Такого старичка-покупателя вы не увидите ни в Томске, ни в Кемерово. Да я там никогда и гармоник губных не видел. Вот что значит настоящий, большой город! Мегаполис! Сколько я потерял, проживая в разных глухих углах! Какие чудеса прошли мимо меня!

Несколько опечаленный, я отправился на автовокзал. Но моя печаль тотчас прошла, потому что возле кассы нужного мне направления не было никакой очереди! Я без хлопот купил билет, и вскоре уже сидел в комфортабельном автобусе.

Салон был почти пуст. По соседству со мной сидела молодая особа. Происходило некое чудо. Только я заехал на Урал, как на моём пути стали попадаться милостивые, синеглазые особы. Одна проводила к тётке в больницу, другая теперь едет со мной в автобусе. Я лихорадочно придумывал фразу, с которой было бы уместно обратиться к девушке. Меня смущала моя ветхая одежонка. И тут в окошке я увидел название очередной автобусной остановки:

#### СИНЕГЛАЗОВО

- Удивительно! - сказал я. - У вас на Урале так много красоты. Много синеглазых людей. Даже вот деревню так поэтично назвали!

Она как-то странно взглянула на меня, спросила:

- Вы нездешний?

Я объяснил, что я на Урале впервые, покорен, восхищен, околдован, заморожен, заморожен, укорочен, в смысле укрощён. Хотел бы тут остаться навсегда.

- Вы не знаете, что тут у нас произошло?

- Где? В Челябинске?

Она не сразу и почти шёпотом ответила:

- Сами узнаете.

Она отвернулась, молча глядя в окно. Я понял так, что не устраиваю её. Был бы у меня костюм хороший, да ещё бы галстук... Другое было бы дело. Печальная какая-то. Может, аборт сделала?

Незаметно для себя задремал. Разбудил меня голос шофера:

- Конечная! Выходите!

Я вышел. Увидел аккуратный крохотный посёлок. Вдали торчали из земли две кирпичных трубы, красный кирпич перемежался с белым. Создавалось впечатление, чтобы трубы состоят из белых и красных колец. Дизайн!

Трехэтажные двухподъездные дома выстроились как на плацу, возле каждого дома - палисадники. Асфальт. Всё чистенько. И через каждые двадцать шагов с обеих сторон тротуара стояли покрашенные серебрянкой урны для мусора.

Я нашёл нужный мне дом и подъезд. Ну, держись Злодеев! Я не умею сражаться, я тюфяк, мямля, рохля, размазня и недотепа, но я буду с тобой строг. Я на все пойду, Злодеев! Это же мой шанс на квартиру! Держись!

Подбодрив себя таким образом, я поднялся на второй этаж и нажал кнопку звонка. Открыл мне пожилой мужчина с умным волевым лицом. Крепкий ещё.

- Вам кого?

- Мне Семёна Ильича, я племянник Александры Ивановны! Она меня послала сказать, что нужно разменять квартиру, чтобы у нас с ней была однокомнатная, иначе она в суд подаст.

- Так я же сообщал ей всё, она же знает.

- Вы не думайте! Она больная, но я-то здоровый! Я могу и по судам ходить, и терпения у меня хватит! В конце концов, я журналист, я могу в газету написать, создать общественное мнение! Лучше вам уступить по-хорошему. Да ведь должна быть справедливость?

- Парень, ты воду пил?

- Какую воду?

- Ну, жарко сейчас. На улицах у нас в посёлке краники, ты воду пил?

- Нет, не пил. А что такое?

- Автобус полчаса отстаивается, ты ещё успеешь, беги скорей, садись и уезжай! Да не вздумай воды напиться! Ты ещё молодой, тебе жить надо!

- Выпроваживаете? Со мной такие фокусы не пройдут!

Он рассердился:

- Дура твоя тётка. Проверятьщика прислала. Тут недалеко у нас авария произошла.

- Какое отношение к размену квартиры может иметь авария? Дом-то ваш, слава богу, целый остался!

Он помолчал, как мне показалось, в смущении, потом сказал:

- Радиация! Слышал такое слово? Мы сами на узлах сидим, в магазинах весь лимонад скупили, а из водопровода не пьём. Кто сейчас будет менять на этот посёлок квартиру, когда все отсюда бегут, как крысы с тонущего корабля?

Я смотрел на него, не решаясь ему верить. Огляделся: действительно всюду стояли упакованные чемоданы, и лежали узлы с тряпьем.

Он понял мои сомнения:

- Ты сюда ехал - сколько пассажиров в салоне было?

- С десяток!

- Вот то-то оно и есть! А отсюда пойдет битком набитый автобус. Это притом, что многие уже уехали. Соседние дома почти сплошь пустые. Беги бегом на вокзал, иначе места не будет. Мы сами завтра уезжаем, вот пасынка только ждем, когда с работы уволится. Беги! Будут у тебя ещё квартиры!

Ты не думай, что я своей фамилии соответствую. Да был бы я злодеем, я бы свою фамилию давно сменил, а я не меняю. Я её жизнью своей опровергаю. Тётка твоя для семейной жизни, прямо скажем, не подарочек. Хотя, может, и моя вина тут тоже есть. Я её не выгонял, сама уехала. А меня потом, как бы за аморалку, по её заявлению с работы сняли. Вот я и подался сюда. Да откуда я знал, что тут получится?

Только ты никому не говори, что я тебе об инциденте сказал. Тюрьма. Ладно, чеши, парень! Смотри, уйдёт автобус, ночевать здесь придётся. Чем дальше ты тут находишься, тем больше дозу схватишь! А тебе ещё семью создавать, детей рожать!..

Я ушёл из этого дома в сомнениях. Обвёл меня вокруг пальца хирург негодяйский! Вот хитрый какой! Тётя Шура предупреждала, чтобы я с ним был поостороже. Но в обратном автобусе я уже внимательнее пригляделся к пассажирам. Все они были молчаливые и мрачные. Все как воды в рот набрали. Это не могло быть случайностью. Да и вспомнились мне слова Паганеля в столовской очереди, жрите, дескать, чем скорей нажрётесь, тем быстрее сдохнете. Вот оно что! Нет, я и в Челябинске пить не буду, как-нибудь перебьюсь до свердловского поезда.

Вскоре я уже был с отчётом у тёти Шуры. Она выслушала меня внимательно. Потом сказала:

- Значит, не врёт. Ладно! Тогда так: я дам тебе денег, ты будешь жить в здешней гостинице. Я вылечусь, стану опять работать в этой больнице, однокомнатную квартиру мне и так дадут. Будем жить вдвоём.

Ой, не похоже было, что она скоро поправится! И характер у неё, говорят, плохой. И как это я буду месяц или два жить в гостинице? И работать мне тут негде. Я только подумал это, а не высказал, а она на мои мысли сразу же ответила:

- Ну, и не работай! Телевизор купим, и будем смотреть!.. Поживи в гостинице.

Я пожил, но ведь тоска зеленая - жить в общей комнате среди нескольких десятков командированных. Осень вступила в права, а тётя, судя по всему, и не думала поправляться.

Нет. Не видел я в такой жизни перспективы. Я ещё даже ни разу не женился. И посёлок такой, что тут даже санитаром не устроюсь, даже картошку перебирать. Быть сиделкой, возле недвижимой тётки? Да, она сестра моей мамы, родная. Но где же она раньше была, когда я под заборами ночевал и голодный, и холодный?

И опять маленькая старушка с живыми пронизательными глазами как-то прочла мои мысли.

- Я тебя не принуждаю. У меня вариантов хватает. Куда бы ты хотел поехать?

Я понял, что речь идёт о деньгах и надо выбрать маршрут подлиннее. Я мог бы назвать Владивосток или Брест, но я там никогда не был, это для меня самого прозвучало бы неправдоподобно. И я сказал, что хочу вернуться в Ашхабад. Мне и в Томске не повезло, мне и в Кемерово не пофартило. В Ашхабад!

Александра Ивановна улыбнулась, позвала медсестру, та кивнула, вышла и через какое-то время принесла тётину портмоне. Тётя сунула туда два пальца, не глядя, вытащила несколько крупных купюр и подала мне.

- Прямо сейчас и поедешь?

- Да! Вы уж не обижайтесь! Я ведь пытаюсь ещё и сочинять. Мне в глуши жить больше нельзя.

- Я знаю. Не волнуйся! Я всё понимаю!

Она меня успокаивала.

Я поцеловал её и ушел, чувствуя себя последним подонком.

Спорил сам собой всю дорогу до Свердловска. Бросил тетку на погибель. А может, поправится? Врач же! Чего казнюсь? Её жизнь прошла мимо меня. Зачем меня вызвала, и сунула в невидимый ад, чтобы потомства лишить?

Деньги в моём кармане шевельнулись и приказали:

- Найми такси до аэропорта!

Нанял. Прибыл в аэровокзал. Деньги шепнули:

- Выпей пузырь шампани, тогда и решишь, куда ехать.

Я послушался. Но одной бутылки оказалось мало. После второй внутренний голос застрожился:

- Ты же тётке сказал, что едешь в Ашхабад! Не смей обманывать!

Не понял - как, но в руке у меня оказался билет на ашхабадский рейс. Мерцали над выходами электрические табло. Бесцветный голос с неба сообщил:

- Объявляется посадка!

На поле неподалёку от аэровокзала белел эффектный ТУ-104. Уже у меня проверили билет, я нашёл своё место, уселся. Какой-то пассажир произнёс:

- Ну вот, немного вздремнём - и будем в Москве.

В моём ошампаненном мозгу не сразу, но щёлкнул тумблер. Конечно, всякое бывает, но как-то странно - в Ашхабад - через Москву.

Самолёт уже разогрел двигатели, уже и трап отъезжал. Кинулся к проводнице, она страшно взволновалась:

- Нажрутся!..

Я объяснял, что с каждым может случиться. Они же проверяли билеты! И место моё оказалось свободным.

Трап вернули, и меня с позором выгнали из московского самолёта. И я тут же присоединился к партии пассажиров шедших на посадку в другой ТУ-104, который должен был лететь в Ашхабад. Там возле трапа я спросил контролера:

- Самолёт в Ашхабад летит?

- В Ашхабад, в Ашхабад! А вы не перегрелись на солнышке?

- Нет, ничего, я смирный. Пристегнусь и спать буду.

В самолёте я сразу же пошёл искать туалет, но проводница велела мне сесть на место. Туалет откроют только в полёте. Выпитое шампанское внутри меня дождалось этого прекрасного момента.

Сел в кресло, но сон не шел. Боже мой! Это же сама судьба меня хотела отправить в столицу! А я опять иду по кругу. В Ашхабаде - каждый кустик ночевать пустит. Там шампуры с шашлыками летают в густо-синей южной ночи под луной размером с медный таз. Там можно встретить на улице ишака и верблюда. И там не делают из людей ишаков и верблюдов, как это случается на Руси. Но всё же это - тоже провинция, глубинка, только раскрашенная необычайно щедрым маляром. И где-то там, в зарослях абрикоса, айвы и грецкого ореха потерялись почти десять лет моей жизни. Терять ещё?

Я вскочил, кинулся к уже закрывшейся двери самолёта:

- Отворите! Сойду!

- Это тебе трамвай, что ли? - визгливо закричала бортпроводница, напьются и...

- Аппендицит лопнул! Прободение язвы! Отворите, мне в больницу...

Сопровождаемый нелестными словами, сошёл я по трапу.

## 10. ЧЁРНЫЙ ОФИЦЕР

Возвращался я в Томск на поезде, тогда-то вошла в моё купе Судьба. Она была в образе седоватого, толстоватого гражданина со скуластым лицом и с огромной бородавкой на левой щеке.

- Вы помоложе меня, - заявила Судьба, - может, уступите мне нижнюю полку?

Я уступил. Незнакомец был неразговорчивым, он лежа читал газеты, а потом уснул. Но до Томска ехать было ещё долго, я успел ему поведать кое-что о себе. Он молча начеркал что-то на листке и подал мне:

"Томский обком КПСС, спросить Кропачёва Виталия Сергеевича".

- А телефон? - спросил я.

- В бюро пропусков вас свяжут со мной. Если буду свободен - приму. Нам нужны кедрь".

Больше за сутки с лишним он ничего не сказал. То спал, то глядел в окно, то брился, то читал газеты.

Приехали в Томск поздно ночью. За Кропачёвым пришла машина, я сделал вид, что кого-то ожидаю, и остался ночевать на вокзале.

Утром я побрел в обком и повторял про себя: "Селу нужны кедрь? Зачем им - кедрь? И причём тут я? Я же не лесник!" И всё же я на что-то надеялся.

В бюро пропусков я сказал, кто мне нужен. Женщина спросила мою фамилию, позвонила по телефону. Потом подала мне пропуск, заявив:

- Второй этаж, кабинет двести тридцать. Ждут!

Нашёл кабинет, постучал, вошел. И увидел за столом человека-Судьбу.

- Пьёте? - спросила Судьба.

- Если клясться, что не пью, не поверите? - ответил я на вопрос вопросом.

Кропачев гладил бородавку на щеке, звонил по телефону, уходил из кабинета. Потом сказал:

- Направляем вас в редакцию в Кошевниково.

Я понял, он имел в виду не кедр, а кадры. Причем - сельские. Человек-Судьба оказался заведующим сектором по печати обкома.

Но мне совершенно не хотелось ехать в село. Я там был в раннем детстве, там гуси меня щипали за мягкое место, и ужасно шипели. Там моя тётушка Липа вышла замуж за Страшного Сержанта, но это не значит, что я должен зарыть свой талант в такой глуши. Я родился и вырос в городе. Мне нынче в Томске и то тесно. Не зря в поезде мне приснился сон длиною от Омска до Новосибирска. Во сне этом мне подмигивал своими огнями Ашхабад, где нет зимы и от духанов тянет шашлычной гарью. В Томске тоже есть своя поэзия. И даже в морозные дни здесь на проспектах шумно и весело.

Говорят, круг общения и в многолюдном городе ограничен, а многолюдство лишь создаёт иллюзию расширения этого круга. Пусть! Зато, какой сладостный мираж! А в этом Кошевникове я буду лишён даже надежды.

Я сказал человеку-Судьбе, что никуда из города не поеду. Поищу работу в томских редакциях. У него аж бородавка увеличилась в размерах и посинела:

- Если вы немедленно не поедете в Кошевниково, то достаточно одного моего звонка, и вас не примут ни в одной газете Томска и области. Вы понимаете, с кем разговариваете?

Я проклял себя за свою опрометчивость. Зачем я клюнул на эти "кедры"? Зачем пошёл в обком? Впрочем, всё равно без согласования с обкомом меня ни в одну редакцию не приняли бы. Я сделал плачущее лицо:

- Послушайте, я здесь родился, здесь все друзья и родственники, хоть переночевать есть где...

- Я уже секретарю обкома доложил о вас. Или вы работаете в Кошевникове, или... Подумайте, свежий воздух, чистая вода, и жильё вам организуют, аванс дадут... Так что идите прямо на автобусную остановку. Я буду ждать звонка от редактора о вашем прибытии в село.

Я вдруг вспомнил, что выданные мне тётёй Шурой деньги непонятным образом улетучились, в кармане еле шевелилась лишь небольшая сумма, как раз на автобусный билет до Кошевникова. Теперь ничего не оставалось, как только ехать в эту дыру. Я согласно закивал:

- Иду-иду! Еду-еду!

В дороге я пытался себе представить районную редакцию и не мог. Я работал прежде в Ашхабаде в республиканской, столичной. А что такое районка? Что там за люди? Читал я стихотворение одного поэта о том, что в райцентре всё - райское: райзагс, райздрав, раймаг, райсуд.

Я прибыл в своё рай-село к вечеру. Здесь пахло навозом, березовыми дровами и речной свежестью великой реки Оби.

На берегу реки, в бывшей больнице размещалась редакция. Рабочий день в ней ещё не кончился. Я застал редактора газеты на посту, в его кабинете. Редактор - бывший начальник дальневосточной погранзаставы. В райкоме сочли, что майор в отставке вполне может командовать суффиксами и флексиями. Стальноглазый, кучерявый, краснолицый редактор Яков Ефимович Фатеев оказался великим добряком. Он сказал, что предупреждён о моём приезде, более того, техничка редакции тётя Мотя уже сварила уху из обской рыбы.



Вскоре весь коллектив редакции собрался в бумажном складе. Поставленные на попа рулоны бумаги служили нам столами. По-крестьянски тугая и крепкая тётя Мотя черпала уху из большого закопченного котла и разливала по тарелкам. В меню была и самогонка, подаренная редакции бригадиром одного таёжного совхоза. Мы пили за мой приезд, за здоровье коллектива редакции, за дальневосточных пограничников и за что-то ещё, я не помню, потому что к концу ужина перестал что-либо соображать.

Проснулся я утром в том же бумажном складе, на раскладушке, кем-то заботливо укрытый огромным старым овчинным тулупом. Спустившись по крутому откосу к Оби, я умылся ледяной водой.

Ровно в девять в редакцию явился Яков Ефимович. Состоялась беседа в кабинете, где был старый канцелярский стол, сукно которого сплошь испещрено пятнами, словно стол этот заболел проказой. Редактор сидел за столом в ободранном кресле, а вдоль стены примостились расшатанные разномастные стулья. Я присел на один из них, стул жалобно пискнул и пошатнулся, хотя я вовсе не тяжеловес. И так он пищал и шатался во время всего нашего разговора.

Я сказал редактору, что, в общем, в складе я выспался неплохо, но осенняя свежесть скоро сменится первыми морозцами. Мне нужна квартира.

- Дорогой мой, - сказал Яков Ефимович, - человечище! Выгляни в окно! Видишь, бегут по косогорам домишки да избышки. Землескрёбы, сплошной частный сектор. Я тебе квартиру не рожу, у нас порой начальники углы снимают, семейные люди. А ты-то - один! Сам себе господин. Я поговорил с типографскими, они тебе хорошую бабушку нашли. Будешь угол снимать, молочко попивать!

- Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел! - сказал я Якову Ефимовичу. - Мне эти бабушки всю плешь переели. В обкоме сказали, что вы меня отдельным жильём обеспечите.

- Гляди какой! Молока не хочет! Бабка и картошечкой угостит, и капусточкой. И печь натопит, и полы вымоет. А в отдельном жильё кто тебя обихаживать станет? И скучно будет!

- Скучно не будет, я стихи, я рассказы пишу. А бабка мешать будет. Мне надо отдельно.

- Ну, не гляди на меня, как Ленин на мировую буржуазию! - сконфузился Яков Ефимович. - Я понимаю, я всё устрою. Я в райкоме кулаком по столу брякну!

И устроил. Отвёл меня на окраину в почерневший от старости и замшелый одноэтажный дом, Отпер ключом покосившуюся дверь.

- Вот! Печку глиной подмажешь. В редакции возьми стул и раскладушку, и ещё тумбочку. Обзаведёшься мебелью, тогда вернёшь...

Редактор ушел. Я наломал полыни во дворе и принялся подметать жилище.

Заглянул сосед, человек в телескопических очках, плотный, с мясистым носом:

- Холодно? То-то...

В голове у меня зазвучало из Маяковского: "Профессор, снимите очки-велосипед!" Но он свой "велосипед" и не подумал снимать. Сообщил, что через одну стену они с женой могли видеть Париж, а через другую - Лондон. И жена велела штукатурить. Злой молоток расшиб ему два пальца, когда он набивал дранку. Теперь он не может играть на скрипке.

Отопление и у меня, и у соседа было водяное: в печки были встроены бачки. Когда мы возвращались с работы, растапливали печки, то начинал гукать мой бачок, а в отдалении гакал бачок на кухне соседей. Казалось: идут два поезда и никак не могут встретиться. Куда мы ехали во времени и в пространстве, я не знал, может, знал сосед? С такими-то очками!

Он приезжал домой на мотороллере, с треском и дымом, и все пеньки и кусты в ужасе разбегались в разные стороны. Хлопала дверь в тамбуре, и сосед о чём-то за стенкой слишком громко говорил с женой. А я мучился поисками рифм и сравнений.

Как-то раз в комнату мою заглянул человек в синем форменном кителе. Я не сразу узнал соседа. Выдавали его лишь телескопические очки. Сосед представился:

- Следователь прокуратуры Буковкин, сыскарь, тэсэзэть.

- Ах, вы - следователь?

- Да, но я сочувствую искусству. В Егоре Буковкине, возможно, погиб большой писатель и музыкант. Не верите? О, я бы писал, как Сент-Экзюпери. Это - глубоко, высоко, гениально!

- Глубже Толстого?

- Прервем литературный диспут! - сказал Егор Буковкин. - Предлагаю, дорогой соседушко, отметить по русскому обычаю новоселье. Стол накрыт!

Егорова жена, представляла собой полотно некоего сюрреалиста: краски располагались на её лице так хаотично! В какой-то девичьей пелеринке - всё равно гляделась не слишком-то молодо. А Егор был совершенно неопределенного возраста. Он спросил меня:

- Вы по какому случаю в район перебрались?

- Да просто приехал.

- А меня сослали. Мы с Лидой здесь уже познакомились. А до этого работал в северном районе. Мой Бог! Следователь прокуратуры, копание в грязи. Усталость наваливается страшная. Куда пойдешь? Хочется расслабиться ...

- Егор, перестань! - сказала Лида. - Кому это интересно?

- Излить хочу. Ведь это - писатель... Раз бутылочку взял, стресс снять. Окосел, сказались бессонные ночи. Ну, выстрелил пару раз из служебного пистолета в прикрепленную к дверному косяку пачку "Казбека". Даже не попал! А шуму! Буковкин - пьяный, стреляет! И - пожалте-с! Строгача вlepили и сюда перевели. А логика где? Кошевниково южнее и ближе к Томску. Щуку, тэсэзэть, бросили в реку, точнее - на берег Оби.

Опрокинув очередную стопку, Егор вскочил:

- Друзья мои, музыки хочется, сейчас я буду играть Шопена! Скрипка, друг мой, скрипка!

- Егор, перестань!

Он приложил скрипку к подбородку, провёл смычком по струнам:

- Какое кощунство! Кто-то порвал струну. Кто? Чёрствыe, подлые люди, надо выпить...

- Егор, поимей совесть, - сказала Лида.

- Она-то меня и мучает. Глебик, мой честный, добрый Глебик! Я даже одним воздухом с тобой дышать не могу, я - чёрный офицер, я людей расстреливал!

- Глеб, не слушайте его. Кого он там расстреливал? После универа мыкается по районам. Зрение плохое, почерки путает, а в документах любая запятая важна. Неприятности бывают...

В первый день работы редактор велел мне собрать информацию по телефону. Дело знакомое: привесы, надои, быки и коровы - будьте здоровы! Записал на листочке цифры да фамилии, и разводи пожиже разными словами: "Раньше других приходит на дойку Гликерия Ивановна". А может, она как раз опаздывает? Просто у неё коровы хорошо доятся? Кто будет проверять?

Написал на двух листках четыре информации, пошёл в секретариат. Ответсекретарь бегло скользнул глазами по моей писанине, встал из-за стола, внушающий почтение своей певческо-гусарской грудью:

- Ты из какой деревни приехал? - спросил он, швырнув по столу мои листки так, что я едва их успел поймать, а то бы они упали на пол.

Что-то - мутновато-сине-шальное. Так захотелось мне шлепнуть листками по вздернутому нахально короткому носу. Из деревни! Я очерки в республиканской газете писал!

Забегал я в кабинет к редактору, вроде даже без стука, он проницательно сказал:

- С Александром Автономычем - не того? Паники не надо. С кадрами экспериментируем. Тройкин пишет неплохо, попробовали ответсекретарем назначить - увы, сказывается его застарелая привычка.

- Что же за привычка такая?

- В артиллерии ротой командовал. Списали за что-то, норовистый.

Яков Ефимович сам подписал мои информации в набор. Потом сообщил, что вместе с фотокором Петей Былиным и Саней Тройкиным отправляется в командировку:

- Хоть воздухом подышать. К тому же в каждой бригаде можно чем-нибудь угоститься. А ты будь в редакции за старшего. Решай все вопросы по выпуску номера, Отвечай на звонки.

Правлю полосу, отдаю на линотип двум красавицам Вале Подгородной, Гале Вавиловой. Девчата напевают, линотип стрекочет.

Но что это в полосе? "Свинарка Иванова получила по двадцать телят от каждой овцематки..." Как мог я такое пропустить?

Галя с Валей за линотипами сидят, работают сосредоточенно, только раздумялись сверх меры. Это они нарочно набрали! Притворщицы!

И когда они успели навести в линотипной уют? В бывшей больнице - щелястый пол, обшарпанные стены. Но они пол застелили половичками домашней работы, стены подбелили, окна промыли, на подоконниках поставили банки с кедровыми ветками.

А чем это приторным от них пахнет?

- Ликёра хотите? - Валя подает в стакане нечто розовенькое. Дух захватило. Спирт для промывки машин, в него они конфеты-подушечки поместили. Весь день набирали, остались в ночную, расслабиться надо им? Пусть, лишь бы ошибок не было.

Выпил ликёра. Мысли закружились. Тут сестра милосердия когда-то шприцы кипятила. В печатном - операционная была, там, где теперь движок тарыхтит, морг

был. А, все умрем! Но разве могут умереть Галя с Вале́й? Ласковость эта, ямочки на щеках, разве могут они умереть?

Глухая ночь. Газету подписал и сдал печатнику. Запираю дверь линотипной на всякий замок. Бац! Слетел с крыльца. Столкнули меня две пахнущие самодельным ликером чертовки. Упал в сухую полынь.

Их влекут - неологизмы, жаргонизмы, арготизмы, а мужей их - эротизмы, новостройки коммунизмы, и случайные оргазмы, и запойные маразмы. Этим самым доннам Аннам, нынче от ликёра пьяным, голосом от хрипа странным, я кричу: "Вы к Дон Гуанам под седым речным туманом - шагом марш по тропкам банным! Сбуду вас таким манером к шоферам, милиционерам, буду жить с народом рядом, с очень чистым циферблатом!"

То, что могло быть в жизни, но теперь уже невозможно, прошелестело в темноте резиновыми сапогами по сухим травам и кануло во тьму...

Мой очковый сосед стал заглядывать ко мне в комнатушку по поводу и без.

- Глебик, у меня опять по работе неприятности. Отправил бумагу вместо Улан-Удэ в Улан-Батор! Какая разница? Всё равно - Улан. Так нет, вернули бумаги с резолюцией: "О чем думает следователь Буковкин?". О чём я думаю? Поздняя осень, грачи улетели, лес обнажился, поля опустели, только в буфете пол-литра одна, грустную думу наводит она. Понял?

- Отстань, не буду. У меня срочная работа.

- Работу надо в учреждении делать, а дома - отдыхать.

- Мне стихи надо писать.

Он ушёл к себе, но не успел я погрузиться в рифмы и образы, из коридора донеслось истошное:

- Гле-ебик!

- Чего тебе?

Он сидел возле эмалированного таза, в котором в буром растворе плавал огромный лист фотобумаги.

- Ты возьми его, Глебик, за край и двигай плавно и непрерывно, а то у меня рука устала. Двигай, пока не появится изображение и не станет чётким и ясным.

Я присел возле таза, а Егор довольно распрямился.

Мне уже надоело двигать фотобумагу в растворе, а изображение всё не становилось чётким, не то голыши какие-то расплывались в космическом пространстве, не то галушки в сметане плавали.

- Егор, что ты снимал? Что-то маячит, но что?

Он подошёл, довольно хихикая:

- Это для неравнодушных.

- То есть?

- Ну, пейзаж такой. Понимаешь, ты привык к реалистической манере, у тебя прямолинейное восприятие, а тут нужна утончённость... как бы тебе это объяснить?

Выяснилось, что он снимал село Коларово с высокого холма. Так это ж красивейшее в нашей области место!

- Как хочешь, Егор, только мне кажется, что ты просто не мог навести объектив на резкость.

- Фи! - Говорю - реалист! - вздохнул Егор. - Тут всё полунамёком. Я тебе свой заветный альбом покажу. Он - для неравнодушных.

А через некоторое время вернулась с работы Лида и обратилась ко мне:

- Глеб Николаевич, меня посылают в Томск на курсы усовершенствования учителей. А он же - большой ребёнок. Присмотрите за ним, Глебик?

Я пожал плечами.

Она ушла, а через минуту вернулась с кошелкой:

- Вот, Глебик, шесть бутылок. Мы - соседи, не надо секретов. В будни он на работе, но в выходные... В субботу дадите Егорушке вот эти три... Каждая бутылка у меня завёрнута в газету, и газета надписана.

- Смотрите: "С-1", это надо дать в субботу. Тут чистая водка. Трезвого не проведешь. "С-2" - водка пополам с водой. "С-3" -голая вода, поняли? Он уж не поймет, ему лишь бы глотать. Воскресные бутылки у меня помечены литерой "В". Не напутаете? Сначала - настоящая водка... Только б не ушёл из дома. Погибнет...

Едва Лида уехала, Егор тут как тут:

- Глебик, Лида оставила нам рыбный пирог, можно поджарить яишню, только она у меня всегда сгорает... Водку носи скорее!

Ясно было, что не отвяжется, я взял "субботнюю" поллитру и направился к Буковкину. Решил извлечь из невольного банкета хоть какую-то пользу:

- За каждую рюмку ты мне расскажешь интересную историю из следовательской практики.

- Глебик, ай-я-яй! Шантаж! Ну рюмку-то налей, думаешь, легко вспоминать? Горы трупов.

- Так уж и горы? Я ж статистику знаю.

Егор пожевал кусок пирога, отёр губы:

- Ну, не горы. Но вот был случай. На окраине в избушке тунеядец... Заявление. Понятые. Подкрадываюсь, распахиваю дверь, а он, тэсэзэть, посадил девчущку на пенёк... Выхватываю пистолет и в потолок - бац! Лицом к стене! Руки по швам!

- Зачем же стрелять? Рад, что пистолет дали?

- Ага! А если он меня поленом по голове шархнет, а сам - в окно?

Буковкин ещё выпил воды, горестно потупился, потом встряхнул головой и сказал с надрывом:

- Пенёк вместо стула, а русые волосики по плечам проливаются... Я интеллигент, а с кем живу? С гримзой на двадцать лет старше себя?! - он уронил голову на стол и всхлипнул.

Со мной говорил уже не человек, а градус. Я ушёл к себе.

- Глебик, ты знаешь, отчего я пью? - раздалось в коридоре.

- Оттого, что алкоголик.

- Оши-баешься, оши-баешься, дорогой мой. Мне горько. Мой папа был большим начальником на почтовом под Красноярском. Но это - военная тайна...

- Ну так и молчи!

- Я молчу. Я, Глебик, сейчас навеки замолчу, понял? Не понял. Глебик, добрый, честный Глебик! Дай, тэсэзэть, пожать твою добрую мужественную руку. Скрипку оставляю тебе на память. Скажи Лиде.

- Иди ложись. Мне уже твоя болтовня обрыдла. Мне писать надо!

- Оши-и-баешься... Пиши, пиши. Буковкин больше никому не будет мешать, Буковкин уйдёт в небытие! Жестокий мир-ик. Покину я...

Только я разложил на столе вырезки, бумагу, Буковкин опять затарабанил в дверь:

- Глебик, ты знаешь, как я покончу с собой?

Я разозлился:

- Мне безразлично. Я тебе не Лида, которую ты запугиваешь, будто вылезешь голым на чердак и замёрзнешь. Слышал, как она тебя отговаривала. Я отговаривать не буду. Лезь, хрен себе отморозишь!

- Оши-и-баешься. Я не доставлю никаких хлопот моему славному Глебику. Я просто закрою вьюшку, лягу в постель и усну вечным сном от угарного газа. Обнимемся последний раз, дорогой мой!

Я не отвечал. Через некоторое время с кухни соседа до меня донеслось лязганье вьюшки. Наконец оно смолкло. Тишина. Но не писалось. Вдруг он вправду - того?

Подкрался к его двери, приоткрыл. Буковкин лежал в комнате на кровати и спал тяжёлым пьяным сном, пожевывая толстыми губами. Вьюшка была открыта вовсю, печь гудела, бачок гакал...

Отец его - генерал. Значит, Буковкин с детства как сыр в масле катался. И что это ему дало? Грымзу? А мне мои лишения что дали? Одиночество? Ничего, ашхабадский лектор говорил же, что женщина - это часть жилища. Комната у меня уже есть, остальное приложится. Но отчего же до сих пор не приложилось? В отрочестве в Щучинске меня мучила безответная любовь к чернявой Нине Беркутовой. Я места не находил себе, когда она уехала в Караганду. И бабушка Мария Сергеевна, заметив это, сказала:

- Учти, к каждой бочке находится затычка, а к каждой затычке - бочка. Она, говоришь, красавица? Тебя, парень, тоже с первого десятка не скинешь...

Мария Сергеевна была безграмотной казачкой, но выступила как психолог, вселяя в меня уверенность.

С некоторых пор я стал замечать, что наша машинистка, которая работала по совместительству корректором, стала странно себе вести. Я вечерами задерживался в редакции. Стала задерживаться там и Бурундукова. Обязательно ей нужно было навести полный порядок в моём кабинете. Была она вся гибкая, бывают такие женщины, бёдрами, талией напоминающие гитару. Детей у неё, говорят, куча, корову держит, поросёнка, кур. Она стала протирать мой письменный стол, я хотел встать, она обхватила мои плечи:

- Сидите-сидите! Творческий процесс нельзя прерывать, понимаем, осознаём! - сделала вид, что протирает чернильный прибор, склонилась ко мне и крепко впиалась губами в мои губы.

Через несколько дней я затемпературил, не вышел на работу, она вдруг объявилась у меня дома с бутылкой перцовки и бидоном парного молока. Присела у кровати:

- Может, горчичники поставить? Или лучше массаж сделаем? Огласка? А может, я страждеделегат?

Склонилась и присосалась к моим губам:

- Видишь? Даже не боюсь гриппом заразиться...

- Уходите сейчас же!

- Трусишка! - сказала она и ушла, покачивая широкими бёдрами.

Тотчас ко мне вошёл Егор:

- Чего к тебе прокурорша приходила? С бидоном?

Час от часу не легче! Жена прокурора! У него, поди, пистолет есть, пристрелит из ревности, и ничего ему не будет...

Вскоре я ближе познакомился с Тройкиным. С Брянщины он, из глухой деревни. До армии даже паровоза не видел.

- Так чего ж ты, - говорю, - спрашивал, из какой я деревни? Я-то городской, а ты и есть - чёрт деревенский. Понимаешь ты, что людям нельзя сердца надрывать?

- Нежный ты больно, - отвечает он, - тебя бы в мою роту, там бы тебе ствол прочистили!

Тройкин сообщил мне, что занимается литературным творчеством, что именно по этой причине не перевозит из Томска в Кошевниково семью, ибо за творчество платятся одиночеством... Мы помирились...

Мне всегда хотелось подсмотреть момент, когда встают реки, но никогда это мне не удавалось. Так было и в этот раз. С вечера - тёмная вода и снег, и порывы ветра, а утром - кочковатое белое поле. Вот и всё. До весны. И так тоскливо стало мне в раю райцентра! Вечерами я иногда отзывался на призыв соседей заглянуть к ним на чаёк.

Я как-то рассказывал Буковкину, что начальник паспортного стола при прописке долго и чуть ли не на просвет рассматривал мой паспорт. Может, ищет кого, похожего? Буковкин тогда рассмеялся:

- Да ты в таком возрасте и не женат! Вот он и думает: алиментщик, сведения о регистрации брака и о детях из паспорта какой-то химией свёл...

Лида сказала:

- Одному плохо, холодно, грязно. Женской руки не хватает. В школе у нас есть учительница, Дарья Васильевна. Скромная. На Новый год она будет у нас, познакомлю.

И грянул Новый год. Буковкин в белоснежной рубашке. Лида, помолодевшая от кремов-помад и выпитого вина, учительница Дарья Васильевна.

Буковкин продемонстрировал свой знаменитый фотоальбом для неравнодушных, попытался сыграть на скрипке, заявил, что он чёрный офицер, выполнив свою всегдашнюю программу.

Заснеженные улицы Кошевникова, тропинки, дымки из труб, старый дом и голос Дарьи Васильевны, мягкий такой, мятный. Что-то про Сент-Экзюпери и всякое такое прочее. - Зайдете?

Долго стучала в дверь и окно. Стук в сенях, кряхтенье, старушка на пороге.

Прошли через кухню, где старушка спала. Шептались. Было ясно, что старуха подслушивает. А бес, он и на свечке яичко спечёт. Это пословица моей бабушки Марии Сергеевны.

Явился на работу, но инерция новогоднего застолья оказалась столь сильной, что и в этот день и с неделю ещё из комнатки редакционного бухгалтера Доэли доносились хриплые рулады:

- Распрягайте, хлопцы, коней!

Иногда вываливался оттуда редактор, обводил всех бессмысленно глазами, спрашивал:

- Жена не искала?

Жена здесь была, видела его, расхристанного, в исподнем. Ругалась. Просила ему сказать, чтобы домой не являлся. Но никто не спешил передать редактору этот меморандум.

Галя с Валеёй клевали носами возле линотипа, набирали с ошибками.

Тройкин под Новый год отбыл на Брянщину, на свою историческую родину. И вдруг смотрю - вернулся. Не отдохнул даже и недели.

- Почему так? - спрашивал я его.

- Ну её, деревню! - отвечал Автономыч. - Грубость, невоспитанность. Что там делать-то? А я теперь роман пишу, в архивах надо работать.

- О чем роман?

- Про русское офицерство, тысяча восемьсот двенадцатый год.

- Так про это Толстой "Войну и мир" написал.

- Он другие пласты брал, и он не знал так армию изнутри, как я.

- Да где уж ему, - говорю, - скоро ли книгу будем читать?

- Всё не так просто...

Теперь во время перекуров Автономыч присаживался в коридоре на подоконник и упоённо читал мне фрагменты будущего романа.

Слова текли как вода, скатываясь с ушей и испаряясь, как туман, в голове ничего не оставалось. Запомнилась лишь одна фраза: "Зизи играла на клавесине". Меня умиляла эта Зизи. Сидит себе и играет на клавесине, тогда как офицеры все бурно борются за свою честь.

Однажды я курил в коридоре один, когда в него вошли два милиционера, спросили меня:

- Товарища главного редактора где можно увидеть?

Я им показал кабинет редактора. Через минуту милиционеры вместе с редактором прошли в наш кабинет и вернулись из него, ведя Автономыча под руки. Он вырывался и говорил Фатееву:

- Яков Ефимович! Неужто дашь этим церберам забрать сотрудника? Какой ты руководитель будешь после этого?!

- Александр Автономыч! Если вы что-то там натворили, то и отвечайте перед законом, при чём тут я?

- Сука ты! - закричал Тройкин. - Честь русского офицера...

В этот момент дверь за милиционерами и Тройкиным захлопнулась.

Это был бесплатный концерт для сгрудившихся в коридоре работников.

## 11. ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ШПАК

В лице Тройкина мы потеряли ответсекретаря редакции, заменить его было некем. И однажды в редакции возник человек в измятой одежонке, в чунях, которые смотрели носами в одну сторону, и к тому же были подвязаны верёвочками. Он спросил редактора. Вскоре вышел редактор и торжественно объявил:

- Вот товарищ Шпак, журналист с высшим образованием!

Картина рисовалась такая: Шпак - трезвенник, в газете в Киеве его на руках носили. Случилась несчастная любовь. Поехал куда глаза глядят. Его ждали во Владивостокской краевой газете, но в дороге Шпака обманули злоумышленники.



- Шо за люди у том поезде, у том купе? - возмущался Геннадий Евтихиевич, - шоб я, по-честному, в простую буру продулся? Та ни в жизнь!

Редактор осторожно сказал:

- Надо представлять вас в райкоме, нужна экипировка. Сделаем так. Вы переколете дрова во дворе, а я вам заплачу рублей сто, да аванс выдам, вы и приоденетесь.

Шпак аж задохнулся от негодования:

- Шо? Шоб я, дипломированный специалист, стал колуном махать?

Редактор посмотрел на меня, ища поддержки. Меж тем Шпак взял с редакторского стола свой диплом.

- Подождите! - сказал редактор.

Собрали сотрудников, решили, что каждый принесёт Шпаку что-то из одежды, пока он свою не купит. Принесли, кто штиблеты, кто шапку.

Газету Шпак выпустил неплохую. Заголовки не наезжали друг на друга, статьи не изгибались сапогом, этого трудно избежать, а "сапоги" затрудняют чтение, и некрасивы. Поди составь план газеты так, чтобы всё вместилось, и ни одна статья не мешала другой содержанием. Я тайком подглядывал, как маэстро достигает этой цели. Учился. Пригодится.

Шпак вдохновенно шагал от стола верстальщицы к линотипам, тёмные волосы кучерявились, глаза с поволокой маслянисто блестели. Линотипистки - Галя с Валей - с приездом Шпака встречали меня уже не такими широкими улыбками, как раньше. Шпак заглядывал им в глаза:

- Тут живут тихо, набивают брюхо. А вот когда едешь в Сибирь за убеждения, то...

"Господи! Фанфарон какой! Врёт ведь всё ! Тоже мне Бакунин - Достоевский. А может, им главное - глаза маслянистые, ноги голенастые?" - изводился я в своём закутке. Больше всего Шпак крутился возле Вали. Кожа её была настолько белой, что было видно, как под ней пульсирует кровь. Голубизна небесная в глазах и волнистые золотые волосы сбегает по плечам.

Ей бы суперзвездой быть, а она сидит в сереньком рабочем платье, резиновых сапогах. И чувствуется, что Шпак ей нравится. На меня, небось, так никогда не смотрела. И изготовленным из спирта для промывки линотипа и конфет-подушечек ликёром Шпака потчует. А прежде меня угощала.

А Геннадий Евтихиевич! Про Энгельса говорит. Фридрих утверждал, что со временем семья должна отмереть, идеальная любовь - свободная. И я вижу, что Шпак желает, чтобы семья отмерла не когда-то в будущем, а немедленно. И конкретно началось бы это отмирание с Валиной семьи.

Я ревновал! Хотя это была вовсе не моя жена, а милиционера. Я бы на его месте иногда появлялся в типографии с пистолетом... Ага! А раньше ты почему этого не желал?

Через две недели, в получку, Шпак пошёл обедать, а в редакцию не вернулся. Он не пришёл, ни на другой день, ни на следующий.

Редактор послал меня на разведку в гостиницу, куда мы поместили нашего кучерявого красавчика. Шпака я там не нашёл. Живший вместе с ним геолог сообщил, что Гена исчез одновременно с тремястами рублей из геологического рюкзака. Геолог отметил, что вообще-то Шпак милый товарищ, что недоразумение

какое-то вышло. Я побегал по райцентру, возле столовой неожиданно столкнулся со Шпаком, который вышел оттуда тяжёлой походкой. Он меня спросил:

- Хлеб, партийного хошь?

Я от портвейна отказался, намекнул Шпаку, что пьёт он явно с геологическим уклоном, что это может плохо кончиться.

- Не хошь партийного - прощай!

- Стой, куда ты?

- Воб! - непонятно сказал Шпак и косо побежал в местный национальный парк, где торчали побелённые до пояса акации.

Я не смог догнать его, воодушевленного неведомой мне идеей и атомами розового столовского вина. Я шёл и повторял "воб-воб-воб..." Что бы это значило? Аббревиатура? Вдруг осенило: Гена ведь сказал мне, что идёт в Обь! Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Утопиться решил в проруби. Берег крут. Свалится - убьётся. Прибежал я на берег - никого. Значит, свалился, а потом его снегом замело.

Поплёлся в редакцию, доложил о результатах расследования редактору. Некролог придётся писать. Служил ты недолго, но честно на благо родимой земли! А есть ли у нас фотокарточка Гены? Удосужился ли его кто-нибудь сфотографировать? Вряд ли.

Вечером редактор устроил в бумажном складе нечто вроде расширенного собрания с выпивкой. Совещавшиеся расселись на чурбаках вокруг вертикально поставленного рулона бумаги. Рядом с редактором восседала бухгалтерша Доэль как финансист, который мудро выкроил из редакционного бюджета деньги, которые помогли придать собранию несколько банкетный акцент. Валя и Галя сидели по другую руку от шефа, являясь украшением стола.

- Вызываю Доэль на дуэль! - пошутил редактор, обыгрывая иностранную фамилию нашей могучей (по комплекции) финансистки. В Сибири вообще много людей с нерусскими фамилиями. Я даже встречал в одном селе колхозника Лафонтена. Кому какое дело?

Доэль была огненно-рыжей, причем рыжим у неё было всё: волосы, брови, ресницы, а кожа вся была усыпана веснушками.

Неожиданное и трагическое исчезновение Шпака было обмусолено, словно собачья кость. Возможные и невозможные предположения исчерпаны. Заговорили о том, кто сколько накопал картошки. Морковная Доэль, отрывая от рулона бумагу, чтобы отереть капли пота с носа, сказала:

- Картофль - да, но махра - трижды да! Загоню махру, всех приглашу, напою до...

Мы мило беседовали, когда прибежал из типографии дежурный и начал тарабанить в дверь.

- Какая ещё там курва лезет? Поговорить не дадут! - возмутился редактор. Дежурный сообщил, что к телефону просят кого-нибудь из начальства:

- Сходи-ка, Глеб, подыши в трубу, если райком - то меня здесь нет, в командировке...

Я взял трубку. Звонили из милиции, хриловатый голос невнятно пояснил:

- Товарищ Шпак протрезвились и теперь говорят, что будут писать фельетон в центральную газету. Конечно, они человек с высшим образованием, но они лежали

возле клуба в снегу, могли замерзнуть. При них были деньги, мы их взяли с деньгами в отдел для сохранности. Деньги запротоколировали с понятыми.

Я спросил, можно ли приехать за Шпаком. Дежурный ответил, что можем его забрать в целости и сохранности.

Пришлось идти за шофёром Гохвезом и отвозить Шпака в гостиницу, хотя она и была рядом с милицией. Надо было дать пинкертонам почувствовать, что редакция орган солидный!

На другой день в кабинете редактора мы разбирали проступок Геннадия Евтихиевича.

- Чтоб завтра же вернул геологу триста рублей, понял? - сказал редактор. - Пока не будет от геолога бумаги о получении с тебя долга, в редакцию не заходи, понял? И ещё должен будешь нам деньги за экипировку срочно вернуть. Газету верстать? Обойдёмся.

Шпак вскочил и убежал.

Доэль сказала:

- Пойду, посмотрю как бы, в самом деле чего над собой не совершил. Такой солидный мужчина...

С неделю было глухо, а потом совершенно неожиданно морковная Доэль сообщила редактору, что махорку она продала, за Шпака геологу уплатила, а самое главное - приглашает коллектив редакции и типографии седьмого ноября на празднование её бракосочетания с Геннадием Евтихиевичем.

Когда она удалилась в свой кабинет, редактор стал переходить от одного сотрудника к другому:

- Слышали? Обделаетесь! Шпак на Доэли женится! Ну, баба! Ведь лет на двадцать его старше, если не больше!

Редактор через Доэль вызвал жениха в редакцию.

Геннадий Евтихиевич явился тихий, меланхоличный. Он был в дорогом костюме, правда, не совсем по его фигуре.

- Костюм остался от её первого супруга, - пояснил Гена, - доброе сукнецо.

Редактор обозвал Гену альфонсом, но тот ответил, что любви все возрасты покорны, ссылаясь на различных мыслителей. Когда Шпак обратился к воззрениям Аль-Кинди, Спинозы, а затем перешёл к проблемам и принципам гедонизма, редактор сказал:

- Кончай трёп. Приступай к работе.

- Не-а, - сказал Гена, - я эту рутину теперь презираю. Я, может, у вас только талант губил, буду теперь литературой и философией заниматься.

Шпак прошёл в типографию к линотипам. Галя спросила его, зарегистрирует ли он в загсе свой брак с Доэлью.

- Никогда! - запальчиво ответил Шпак, - я сторонник свободной любви, и я же вам объяснял свою точку зрения.

Он попытался обнять черную Гаю, но она оттолкнула его, и плюнула так, что слюна зашипела на раскаленном котле линотипа.

И Шпак из нашей жизни исчез. Вот так пролетает по небу метеор и исчезает, словно его и не было.

Неожиданно вернулся в редакцию Автономыч. Мы обрадовались. Но он ни с кем разговаривать не захотел. Потребовал у редактора расчёт. Я вышел вслед за

Саней из редакции. Рассказал он, за что его посадили. Будучи в отпуске, в своём селе, Саня влез на крышу дома директора школы и завалил трубу топившейся печи кирпичами. Племяши стояли возле окон, махая ножами. Директор с семьёй чуть не задохнулся в дыму.

После этого Саня, сразу же вернулся в Кошевниково. Но здесь его арестовали, увезли на Брянщину и там осудили. Отсидел он лишь несколько месяцев. Выпускал газету "За честный труд". В библиотеке оформил стенды на тему "Мораль и нравственность".

Посетил колонию большой начальник, прочитал стенную газету и стенды Санины, спросил:

- Кто оформлял?

Замполит ответил:

- Заключённый Тройкин!

- Объявить зека Тройкину благодарность!

Вскоре по лагерному радио эта благодарность прозвучала, Саня стал у начальства в фаворе.

- С замполитом у нас мазь получилась. - пояснил мне Саня. - Согласился моё письмо в вольный ящик опустить. Написал я в газету "Правда". В детстве учился я у этого директора школы. Он мне, гад, тройки и двойки ставил, а я на пятерки с плюсом отвечал. Годы прошли, а прибыл я в отпуск в свою деревню, и выиграло моё сердце.

Главное, что "Правда" сейчас ведёт борьбу с зажимщиками критики. Защищает журналистов. Вот и написали они в Брянский суд - по возможности пересмотреть дело Тройкина. Ну и выступил я там, в суде-то! Как Плевако говорил.

Ну и что? Руководствуясь статьёй такой-то, параграфом, пунктом таким-то, учитывая то-то и то-то, принимая во внимание это и то, считать наказанием срок, проведенный в местах заключения.

Встаю: а кто же заплатит за пролитый пот, за потрепанные нервы?! Судья улыбается: мол, бери-ка ты, Тройкин, ноги в руки и чеши, пока не передумали.

Замполит отвез в зону, документы оформил, потом проводил меня на вокзал. Стоял там, пока поезд не тронулся.

Я поинтересовался:

- Где работать будешь теперь, Автономыч?

- В газете "Леса Притомья" буду ответсекретарем.

- Опять будешь сотрудников оскорблять?

- Я не оскорбляю. Это вы все - люди в футлярах. А я - офицер, привык правду-матку в глаза резать. Простой, открытый человек. Роман вот скоро закончу...

## 12. УЛИЦА ИМЕНИ ДЖ. Г. БАЙРОНА

Буковкину дали квартиру в только, что отстроенном кирпичном доме, и на новоселье я загрустил. Я так и живу в дырявой гнилушке! Егор сказал:

- Это всё потому, что я на учительнице женат. Женись на училке. Им ещё и дрова бесплатно дают. Выгода сплошная.

В стакане с ликёром была горчинка. Мысль о том, что начальник паспортного стола меня в алиментщиках держит. Мне виделся прокурор, уже зарядивший свой

пистолет. Местный национальный парк был устроен на месте кладбища. Получалось, что кошевниковцы танцуют на костях предков. Проталины и запахи весны нашёптывали дорогу.

Через день редактор Яков Ефимович Фатеев при разговоре со мной нервно курил пограничную папиросину "Прибой".

Вздыхал, морщился, потом сказал:

- Ну что ж, получай расчёт, да бери пару пузырей, твой отъезд обмыть. Бери лучше четыре пузыря, народу-то у нас много.

После банкета возле рулона бумаги редактор отдал распоряжение редакционному водиле Гохвезу отвезти меня в Томск на нашем синем "газике".

Проезжали мимо прокуратуры, оттуда выскочил Буковкин, закричал:

- Глебик, это предательство! Мы с вами собирались статью о горном туризме писать. На кого нас покидаете, Глебик? Дайте я вас поцелую.

Машина мчала меня в Томск. В ушах у меня симфония звучала, оркестр в горошину скатали и в ухо положили.

По прибытии в Томск отправился я в управление культуры. А почему бы нет? Разве я человек некультурный? У меня двоюродный брат заведовал клубом шпалопропиточного завода. Почему я не могу? В управлении пижон с гитлеровскими усиками меня словно холодным душем окатил. В городе вакансий нет! Договорились, что я возглавлю Дом культуры в Дачном городке. Жильё пока что дадут в бараке в посёлке Нижний склад.

Прежде чем осмотреть клуб, я решил навестить Кешу и Мальвину, узнать о делах всей моей родни. Я нашёл Мальвинин дом заключённым, кинулся к соседу, но там уже не было немца, жениха моей двоюродной, там жили другие люди. Побродил, поспрашивал. Выяснил, что Мальвина с семьёй - где-то на Севере, Гурий уехал из Томска бог знает куда. Своёго знакомого ветеринара я тоже не нашел. Кругом жили неизвестные мне люди. Сказали: "Избы продал, и как в воду канул". В уме у меня крутилось: "Не нужна мне ангина, не нужна мне малина, не хочу я вообще ничего, лишь бы только Мальвина, лишь бы только Мальвина..."

От Дачного городка до посёлка Нижний склад, где мне дали комнату в бараке, - километра четыре. Спустишься с обрыва, с которого когда-то мы с ветеринаром упали, и шагаешь по тропке, виляющей меж озёр, к посёлку на берегу Томи.

Посёлковый домоуправ предупредил:

- В бараке образованному человеку будет некоторое неприличие. Народ разный. После не пеняйте.

Отмахнулся я. Были в моей жизни разные случаи. Тогда я пацан был, а теперь - человек со статусом.

Бараки стояли на берегу курьи - корабли, готовые соскользнуть в воду. Но меня поразила валявшаяся среди чертополохов ... планета. Так странно было встретить здесь земной шар, на котором можно было разглядеть разноцветные континенты, океаны и моря, города.

Континенты и океаны имели в боках рваные раны, пустоты, словно планету постигла катастрофа, возможно, это был вселенский ядерный взрыв. На Американском континенте кто-то чёрной густой краской намалевал слово, состоявшее из трёх букв, каждая буква была размером с оконную раму. Этот глобус, размером в тысячу раз больше школьного, оказывается, раньше носили на

демонстрации, потом почему-то здесь бросили, забыли. Ещё на боку шара видна Антарктида, с надписью: "Вытрезвитель". Шар пустотелый, и в нем прячутся в непогоду пацаны. Закурят они там, и из дыр "земного шара" струится дымок, словно проснулись вулканы на Камчатке.

Улица Дж. Г. Байрона вся была засыпана щепой и опилками, дорога пружинила под ногами.

Я осмотрел своё новое жилище: вполне помещаются кровать и стол. Печка для топки дровами. Надёжно. Это не батареи, которые иногда замерзают. Вскоре пришёл знакомиться сосед, крепкий, лобастый, с приплюснутым носом, козьими глазами, глядевшими упорно:

- Земля с Томска? Червонец до аванса, живу в подъезде с другой стороны, не сомневайся.

Держался солидно. Тридцать лет срока по судимостям. Ну, не тридцать сидел, по зачётам выходил, под амнистию попадал, всякое было.

Вышел. Отмечаться, из посёлка не выезжать, после десяти - не ходить. Пенсию не заработал. Чокеровщик. Был бандитом. А недавно парни возле "тамбы" чуть у него бутылку не отняли.

Я дал ему денег, все м своим видом показывая, что меня его прошлое не волнует и не смущает. И было видно, что он знает своё место.

- Ладно! Отдыхай, земля! - с достоинством сказал он, унося мою десятку. Я подумал - плакали мои денежки...

Вскоре я был уже в клубе - огромном, деревянном, в сосняке по соседству со стадионом. До меня тут хозяйствовал тоже Глеб, по фамилии Тюменцев. Был он деревенским гармонистом, самоучкой овладел баяном. Первую половину жизни он тоже был занят уничтожением сибирского леса, но совмещал работу лесоруба с игрой на танцульках. Потом вырос до клубного баяниста, а затем и до заведующего клубом.

Про моего тёзку говорили, что руки у него золотые, а горло дерьмовое. Лицо у Глеба приятное. Природа задумала создать красавца, но ей не хватило терпения: глаза большие, но бесцветные, скулы излишне выпирают, а кудри жестковаты. С директорства его сняли за дерьмовое горло. Работает теперь в тубдиспансере. При встрече со мной он пояснил ситуацию:

- Встречаются там бабёнки на ять, но ведь палочки Коха, риск, понимаешь...

С кадрами у меня в клубе было плохо, решил вернуть Глеба в качестве худрука. Он сразу согласился, но сомневался - возьмут ли? Партком и рабочком в него больше не верили.

Палочки Коха. Бросать палки. Палки в колёса. Барабанные палочки. Палочная дисциплина. Аппалачские горы... Впрочем, горы тут ни при чем. Палочная дисциплина. Вот чего хотят добиться рабочком и партком, вот о чём они мечтают.

Андрон Игнатьевич Аверкин. Предрабочкома леспромхоза. Был я газетчиком - такие предупредительно извивались перед моей персоной. А то ещё писака не то напишет. Рабочком тебе и угощение навяливает, и в увеселительную прогулку вовлекает тебя. Презенты. Так было. А теперь он тебя вызовет, сидит, развалившись, еле внимает твоим просьбам, отдаленный, как господь. Он рабочком, я - завклубом, его раб.

Опушённые длинными ресницами дамские глаза рабочкома странно контрастировали с тяжёлыми лошадиными челюстями и простудным голосом. В недалёком прошлом Аверкин был лесорубом, водителем лесовоза. Был въедливым, вскрывал на собраниях недостатки, предлагал. Избрали, переизбрали. Профучёба, семинары. Шляпу завёл, галстук завязывает не хуже главного инженера, от прежнего сохранил привычку к крепким словам. Руководство прощало "острословие" - вожак, свой в доску с рабочими, разве плохо? Аверкин сказал мне небрежно:

- Годи, с одним разберусь, другим займусь.

Он прошёлся по кабинету возле хмурого мужика, терзавшего самокрутку и качавшего загипсованной ногой.

К стулу был прислонён самодельный костыль. Неожиданно Андрон схватил деревяку и с силой переломил её через колено, а обломки вышвырнул в окно.

- Ты чо делаешь-то? - взвыл испуганный мужик. - Пошто так-то, Андрон Игнатьевич? На работе я пострадал-то, не лодырь какой.

- На работе говоришь? - шалые глаза Андрона сияли. - Ты думаешь рабочком - хрен собачий, ничо не знает?!

- Ей-богу - на работе, справка есть...

Аверкин распахнул шкаф и выдернул из него пару новеньких лакированных костылей:

- Получай! Самолично в центральную аптеку ездил. Где это видано, чтоб наш пострадавший лесоруб с самоделкой по посёлку ковылял? Мне за каждого переживать... Порой думаю: лучше б лес возил, только за себя и знал...

Мужик схватил новые костыли, расчувствовался:

- Спасибо, значит, за нами не пропадёт. А мы твою заботу знаем, мы понимаем... Аверкин обратился ко мне:

- Ну, давай вкратце, видишь сам, всем приходится заниматься, каждому надо кашку разжевать и в рот засунуть.

Я сказал, что хочу пригласить Глеба хударком, он в санатории уже свою вину прочувствовал. Аверкин покачал головой, но согласился:

- Под твою ответственность, если он что сотворит, с тебя шкуру спущу...

У меня отлегло от сердца. Я храбро взялся за новое для себя дело. Сколько раз давал я в статьях советы завклубам, как и что им делать. Но советовать легко, а делать - трудно.

Я принимал в подотчёт имущество по списку, который составил Глеб, при перемещении в санаторий.

Бухгалтер сказала, что главное - наличие всех указанных в списке вещей, а уж как они выглядят - дело десятое. Будет инвентаризация и старье спишут. Глеб пришёл, открыл склад:

- Бери, заведующий тетрадку, инвентарная книга называется. Барахло, которое в наличии, "галочкой" отмечай.

Глеб спешил, тряпки мелькали одна за другой:

- Молдаванские костюмы, двадцать, сарафаны русские - тридцать!

Глеб с трудом поднял и перевалил в угол какую-то огромную сложенную во много раз тряпку, от которой поднялась туча пыли, какая была во время ташкентского землетрясения.

- Чего это?

- Мурня! Задник "Утро леспромхоза". Потёрся сильно, давно не вешаем, списывать надо.

Я взглянул в инвентарную книгу и испугался: "Утро" стоило полторы тысячи. Мне столько за год не заработать...

- Задник то снимали, то вешали, на гастроли таскали, истерся весь. Два других есть...

- А что же этот не списали?

- Спишешь... Бухгалтерша Верка, сто слов в минуту. Срок не вышел.

- Ага! Тут с одними костюмами матушку-репку запоешь. Придёт участница, костюм под свою фигуру перешьёт, выйдет замуж, больше не ходит, а костюм перешитый, уже больше никому не подходит - мала ростиком была.

Или перед концертом горячка: венгерский костюм нужен! Нет такого! Берем молдавский да пару старых скатертей с кистями на отделку. Кроим, шьём. И что получается? По списку не числящийся венгерский костюм минус - числящиеся две скатерти и костюм молдаванки. Неразбериха! А сколько девки в спешке утюгами прожгут, порвут впопыхах? А. русские пляски знаешь какие? Сплясали раз - тащи сапоги в ремонт. А денег никто не даст - срок сапогам не вышел. А парики, грим, бутафория? Про всякие гармошки, балалайки и говорить не хочу. - Глеб провёл ладонью по жёстким кудрям. - Втяпался ты не в своё дело, тёзка, точно тебе говорю! А поди концерт организуй, когда телевизор - вокруг Кобзоны, Пьехи поют.

Диваны, полудиваны, стулья, тулья, швабры, швабы, бабы... Все перемешалось в голове. Я ставил "галочки" уже машинально. Растягиваемые Глебом баяны, сипели, пропуская воздух в дыры мехов, запавшие клавиши взвизгивали. "Надует!" - думалось мне.

- Кларнет-а пистон! - воскликнул Глеб и передача закончилась. И с тех пор не было мне покоя. Обнаружил, что по списку не хватает двух шахматных столиков общей стоимостью полтыщи.

Вспомнили, что каким-то столиком растопили печку. Второй нашли в бору - две ножки и кусок полусгнившей фанеры. "Не рассчитаюсь! Тюрьма!" - светилось где-то в затылке.

Теперь же я как бы уже возвратил Тюменцева обратно в клуб. Пусть несёт вместе со мной ответственность за переданное мне барахло. Он знает все эти штучки-дрючки по отчетности назубок. Во время визита в контору я попытался выпросить у Аверкина денег на ремонт мебели.

- Рабочком не дойная корова! Ты сделай весело! Мы, лесорубы, на бревнах сидеть привычные!..

В самолюбивых мечтах я видел себя создателем удивительных концертов, воспитателем молодых талантов и таланток (особенно последних).

Тюменцев пришёл в подпитии, сказал, что ему надо после тубсанатория продезинфицироваться как следует, у баяниста Бялова сестра замуж выходит.

- Мы - в отсутствии, проведи танцы, заведующий, тебе и практика будет, а я потом своё отслужу. Как? Сиди в радиорубке и пластинки на проигрыватель надевай. Если захочешь отлучиться, врубай долгоиграющую. "Колокол" мы с Петей на столб повесим, не забудь после танцев обратно снять, а то пацаны потрохов не оставят, там магниты знаешь какие? Паровоз притянут!..



Дверь хлопнула. Я остался один на один с очагом культуры, битком набитым странными и дорогостоящими разваливающимися вещами. Руку оттягивала увесистая связка ключей.

Технички подмели, помыли, удалились. Сторож придёт к часу ночи. В будни нет киносеансов, в выходные и то зрителей больше двух десятков не соберешь. Телевизор слопал зрителей с ушами и усами. А у нас возле входа афиша - двухнедельной давности, текст смыло дождем, только и разберёшь надпись, что "до шестнадцати - не допускаются". Полставочный художник за полмесяца моего вживания в должность так ни разу и не обнаружился в "студии", на двери которой, щелястой и ободранной, висел ржавый замок.

Я посидел немного в директорском кабинете, привыкая к столу и креслу, телефону и блокноту, наполовину исписанному моим предшественником. Потом прошёл в кинозал. Сел, следя за экранной чепуховиной с неискренними актёрскими поцелуями. Между тем впереди меня на стульях очень искренне целовались двое очевидных потомков князца Тояна, который когда-то владел здешней землей. Один потомок мужского, другой - женского пола.

Третий потомок, сидевший рядом со мной, спросил их:

- Вы чо целуетесь? Родственники, что ли?

Приближалось время танцев. Я поставил на проигрыватель пластинку, закрыл радиорубку на замок и вышел из клуба к танцевальной площадке. Усилитель далеко разносил волны пластиночного вальса. Небо дышало весной.

Техничка Дуся пришла исполнить совместительную роль контролёра. Поместив в проходе тумбочку, она отрывала билеты, тем, кто входил на танцплощадку, с иных деньги брала, а билетов не отрывала, делая себе "навар". Возле танцплощадки прогуливались парочки, ожидая, когда Дусе опостылеет околотумбочкосидение и она уйдёт домой. Тогда можно будет поплясать бесплатно.

Я ушёл в рубку и поставил на диск пластинку с моим любимым танго. Может, и я приглашу кого? Заведующему не откажут. В дверь затарабанили.

Молодой человек в клёшах, которые внизу были художественно разобраны на махры, просипел:

- Ты чо делаешь-то? Люди танцевать хотят, а он завёл какую-то древнюю хреновину! Ты "Чунаря" заведи, понял? Не знаешь "Чунаря"?! Во! В культуру прёт, а "Чунаря" не знает! Это англичан так поет: "Ай, чу найт!" в смысле - добрая ночь и можно обниматься... объясняй всякому. Я свою пластинку тут держу, а они готовое сделать не могут, заведующие!

Он порылся в куче пластинок, вытащил гнущийся диск, на котором явственно проступали чьи-то рёбра, положил пластинку на круг проигрывателя:

- Ты края гирьками прижимай, а то отогнутся, нарочно в буфете гирьки двадцатиграммовые спёрли, понял, заведующий?

"Чунарь" загремел над танцевальной площадкой, отдаваясь далеко в окрестных борах. А я подумал: добрая ночь? И всё такое? Может, и добрая, да не наша. Записана на чьих-то ребрах, а не в государственной студии. На какую скользкую тропу встал я, приняв сан клубного заведующего! Хотелось, чтоб голова отдохнула от писанины, но теперь она болит от других вещей. В новую жизнь вступать трудно. И "Чунаря" танцевать я не умею, там надо руки вверх вздевать, ногами елозить. В рубку стучали и требовали повторить "Чунаря".

Вечером я шёл домой мимо остановки, видел, как отправлялся последний автобус в город. В результате, придя в барак, даже забыв об ужине, наступал на пишущей машинке:

"Дорога ведёт через бор к остановке. Свежо и тихо. Около испещренной надписями дощатой будочки - молодая, красивая, в сапожках на высоком. Глаза-миндалины смотрят спокойно.

Пронесются грузовики. Старик ворчит, вглядываясь в убегающее за поворот шоссе, а мне щемит душу от свежести леса. Черт его знает, зачем природа даёт способность чувствовать красоту, но не даёт счастливого умения выразить всё в красках, звуках или словах?

Вот сейчас я буду говорить тебе, какая ты замечательная! Слова будут яркими, как ожерелья папуасов, как рубины на снегу, как огонь очага, как первые лучи солнца. Но я ничего не скажу, нет у меня таких слов.

Сияя огнями, подкатывает автобус. Тыходишь в него, и сжатый воздух закрывает дверь. Это тот воздух, которым мы оба с тобой только что дышали. Этот воздух, который недавно был в моих легких, теперь закрыл за тобой дверь.

Тебя унёс автобус, я тебя больше никогда не увижу, а если и увижу, не узнаю. Потому что ты станешь иной. Потому что я стану иным. Потому что всё меняется..."

Тут мне надоела борьба с вязнущими клавишами машинки, носящей гордое название "Москва". Я пожевал чёрного хлебца, запил водой из кадки и уснул.

### 13. ВРИО СУПРУГА

Я зря плохо подумал про лысого уголовника. Он вернул мне мою десятку точно в срок. Пригласил:

- Зайди ко мне, посиди за моим столом.

Зашёл. Старушка - морщина на морщине, руки - кости кожей обтянутые, Все исколотые. Но такая вихлястая, живая. Велела звать её тётёй Клашей.

Подали мне брагу. Сало порезали на досточке. Дядя Саня, сводил и разводил руки на уровне груди, локтями назад дергал, словно зарядку делал, и восклицал при этом:

- Эх! Живем!

Был он в телогрейке, белой рубашке, брюках сиротской материи и кирзовых сапогах.

- Три сотни получаю с премиальными! - похвастал он.

- Одежду бы купили хорошую, - посоветовал я.

- У меня вся справа есть. А - чо? Телогрейка новая, сапоги тоже. Я сразу на всё купил крупы, жиров, на остальные - водки. А то у нас деньги долго не держатся...

Дня три он не ходил на работу. На четвертый день он пришёл ко мне:

- Моя дура пятнадцать пузырьков валерьянки оглоушила!

Я стал соображать: валерьянка замедляет работу сердца, даже несколько капель, а тут... Я предложил вызвать скорую.

- На хрена скорую? - удивился он, - и так проспится. Я эту валерьянку себе на опохмелку прятал. Пронюхала, собака лягавая! Ты уж, земля, займи ещё десятку, в срок отдам...

Я хотел разводить кроликов, сказали, что лучше всего купить их у Кента. Он жил в соседнем бараке. Высокий, худой, с длинными руками, с нервными чуткими пальцами. Сказал снисходительно:

- Хорошо, что ко мне пришли. Новичков обычно обманывают. Тут такие жлобы живут, что не приведи господь...

Рассказывал, что ест крольчатину, шкурки сдает. Но не ради денег держит, диету надо соблюдать, кроличье мясо - легкое. Про дядю Саню сказал с усмешкой:

- Бревна катает и сам - бревно.

К купленным у него кролу и крольчихе он выдал словесную инструкцию по кроличье-брачным вопросам. Потолковали.

Если в войну были сыновья полков, то Kent был сыном новосибирского вокзала. Где-то под Калугой в эшелоне при бомбежке погибли родители. Доехал до Сибири. В новосибирском вокзале понравилось. И куски просил, и песенки для ехавших на фронт бойцов пел, а потом и воровать научили. Щипач. Карманник. И была суетная жизнь. И запомнилась подростково-детская любовь с юной беспризорницей. С мимолётным грехом в подземных переходах, или на ночном виадуке под гудки и искры из паровозных труб.

И моё детство-отрочество были похожи, только вот воровать я не пристрастился, хватило ума. А Kent жалеет, что по этой дорожке пошёл. Били. Здоровья нет. Парализовало немного. Но он работает много по хозяйству, женился на вдове одной порядочной. Переплетным делом занимается, в огороде возится. Читать любит. Про дядю Сашу отзывается: сила есть - ума не надо...

Такие у меня тут были соседи. Феня Камахина жила в крайнем подъезде, окна которого глядели на курью. В маленькой комнатухе как-то умещались пятеро её детей: три девочки и два мальчика. Когда они затевали какую-нибудь игру возле барака, то можно было слышать:

- Ты, Басов, не лезь!

- А ты, Камахин, умолкни!

- Затоцкая, ты чего? Рехнулась?

- А тебя, Банникова, не спрашивают!

Все они были от разных отцов, мелькнувших когда-то в этом бараке подобно пролетающим по небу метеорам, и оставивших о себе очень короткую память, размером в длину их фамилий.

И теперь у Фени, уже не отличавшейся ни свежестью, ни здоровьем, постоянно на топчане за печкой помещался какой-либо супруг. Принимала она освободившихся из местной зоны. Это были как бы врио<sup>3</sup> супругов.

Очередной врио уводил парней и девчонок за курью, чтобы вместе с ними жарить на костре шашлык из только что освежеванной собаки. И ребяташки - Камахин, Басов, Затоцкая, Банникова и Камахина, возвращались домой, отирая засаленные губы и отрыгая сивушные и одеколонные запахи. Я пытался говорить с Феней. И она отвечала:

- А что я сделаю? У меня их вон сколько! Порядочный этот хомут не наденет. А без мужика мне не прожить. Ты ж... не станешь?

<sup>3</sup> Врио – временно исполняющий обязанности

Однажды вечером я услышал доносившиеся из Фениной комнатухи душераздирающие вопли и стоны, крики и причитания. У меня мурашки по спине забегали. Кто-то убивает Феню, истязает?

Я осторожно заглянул в окно. Феня стояла на кухне перед потускневшим зеркалом, распустив по плечам волнистые волосы, царапала лицо ногтями, дёргала себя за волосы, и выкрикивала, и причитала, и лила слёзы. Кается? Я осторожно постучал.

- Так заходи! Какого хрена тебе надо?! - недовольно спросила Феня.

- Чего это вы? Чего плакали?

- Чего, чего! Плакальщица я. Али не слышал? Репетируюсь вот... Меня часто зовут, хорошие деньги дают. Лучше меня здесь никто не плачет... Неприятно? Чего неприятного-то?

Мне пятнадцать лет было, когда Сталинградская битва была. Я сама с того города. Мобилизовали нас, девчонок, трупы собирать. Немца рыжего найдем, до Волги дотащим, на воду спихнем:

- Плыви, твою мать!.. Кто тебя сюда звал? А своих зарывали. Неглубоко, сил не было глубоко копать, а зарывали...

А теперь вот, когда плачу, Сталинград представляю, потому и плачу лучше всех. Жалко ведь! И себя, и других...

Только лед на реке прошел, я открыл купальный сезон. Когда иду к курье в плавочках, с полотенцем через плечо, Феня высовывается из окна и обкладывает меня крупным матом. Дескать, не уважаю людей, дескать, в жизни она не видела, чтобы мужики среди бела дня голые по улице ходили. Ругает и обещает написать жалобу управдому.

## 14. ИСПАНСКИЙ ИНКВИЗИТОР

Утром чуть свет отправился в клуб. Готовилась партийная конференция работников леспромхоза.

Уже третий раз из Томского сельского райкома приезжал инструктор. Он был как портрет испанского инквизитора: старичок с фанатичными завалившимися глазами, впалыми висками и почти голым темечком. Было непонятно - как же в таком возрасте он сумел дослужиться только до инструктора? Но большее служебное рвение было трудно себе представить. Инструктор приказал заточить двести штук карандашей, сказал, что проверит качество заточки.

А кому было их затачивать? Глеб где-то якобы добывал репертуар для концерта, спорторганизатор Ленир где-то якобы собирал баскетболистов. Пришлось затачивать карандаши мне вместе с техничками. Если бы вам хоть раз довелось заточить сотню-другую карандашей, то вы бы догадались, что это удовольствие весьма сомнительное.

Старичок-инструктор наседавал. Он требовал, чтобы в глубине сцены был помещён портрет Ленина. Я справедливо заметил, что у нас по краям сцены имеются два намертво укрепленных портрета: Карла Маркса и Владимира Ильича. Прежде на месте Карла Маркса красовался Хрущев, но, после его тихого удаления с политической сцены, было решено в пару Ленину взять Карла Маркса - надёжнее как-то.

Теперь я втолковывал старичку, что если я выполню его указание, у нас на сцене будет два Ленина и один Карл Маркс. Этично ли это по отношению к Карлу? Старичок нахмурился и сказал:

- Выполняйте, что приказано! - в голосе его были грозные оттенки. Пришлось выволочь из запасников большой потёртый и запалённый портрет Владимира Ильича и водрузить в центре сцены. Расставили столы для президиума, принесли красные скатерти, вазы с букетами.

Старичок нашими стараниями остался доволен. Он велел мне в момент, когда публика начнет собираться, транслировать пластинку с записью речи Ленина о том, что коммунизм - это электрификация плюс - советская власть. Я сказал старичку, что люди будут стучать креслами, здороваться, откашливаться, вряд ли в этот момент кто-то станет слушать речь. Партийный старичок опять разгневался, и я вытянул руки по швам, закивал: бусделано!

Ну и что? Пластинка эта - заезженная, хрипая, стульями стучали, восклицали, ведь многие приехали с участков и друг друга не видели по году, до хрипа ли этого было им? Да и на что им речь про электрификацию? Разве это такая уж новость?

Уж речь отзвучала, уж и президиум уселся, и председательствующий в школьный звонок звонил, и всех к порядку призывал, а они всё успокоиться не могли. Я злорадно поглядывал на зловерного инструктора, но он был весь поглощён созерцанием президиума и больше ничего не замечал.

Ленир явился ближе к вечеру. Я спросил его, - почему у нас спортивных игр в клубе не видно. Он сказал:

- Заведующий, ты в своём уме? Ты дай им сетку, а они её всю в клочья порвут, мяч у них куда-нибудь улетит, найди его потом.

- Значит, мероприятий и не будет? Хоть показал бы, что в складе есть?

Ленир почему-то долго не пускал меня в свой склад. Мол, спортивный инвентарь - его отдельный подотчёт. Я пояснил ему: я отвечаю за весь клуб. Сегодня Ленир смилостивился, открыл свою заветную дверь:

- Что смотреть-то? - пнул он ногой маты. - Вот зимой парни съедутся, будем борьбой заниматься, а пока я график составляю...

Я уже знал, что Ленир, как напьётся, заходит в этот свой склад, запирается и спит на мягких матах спокойно. Парень он был красивый, атлетически сложенный, но по-моему, с ленцой. Я его спрашивал, отчего - спортсмен, а такой малоподвижный?

- Болею я, заведующий, - неожиданно сказал Ленир.

- Ты?!

Ленир рассказал. Учился в ТПИ. На спортфаке. В чемпионатах по борьбе выступал. К пятому курсу подобрался. Танцующие институтские. Один Хмырь из-за девочки ножом ткнул - печёнки там, селезёнки.

Больницы всякие. Дома с полгода отлежался, в институт пошёл. Хмырь с тренировки, потный, в душевую нырнул. Ленир дверь раз - на задвижку. А в руке у Ленира снятый с трубы подсолнух железный, там гвоздём дырочки набиты, чтобы струи текли, что-то вроде круглой металлической тёрки. Вот этой штукой Ленир Хмырю физиономию в кашу превратил.

Не пришлось Лениру доучиться, диплом получить. Хмырь окончил всё -таки, хотя и пропустил сессию.

- Ты бы хоть для "галочки" в отчёте какую-нибудь игру с пацанами провёл.

- Ладно, биты вырежу, в городки будем играть, - пообещал Ленир, но это обещание, как и многие другие, осталось невыполненным.

Сибиряки дрова заготавливают весной, чтобы до зимы хорошо высохли. Я спросил Тюменцева, где дровишек купить подешевле, а он:

- На хрена тратиться? У тебя полный склад деревяшек, пошарь-ка в столе ключ от сарая...

Мы вышли из клуба, прошли к стоявшему возле самого бора огромному сараю. Я открыл проржавелый замок. О Мельпомена! С какого Олимпа, из каких туманных облаков всё это свалилось? Обломки декораций, транспарантов, бруски и плахи, арки, с прикрученными к ним электропатронами, футляры от скрипок, детали бутафорских дворцов, мостиков, ротонд. Домры и балалайки с проломленными деками, словно кто ими бил кого-то по голове. И почти целый контрабас, у которого только шейка грифа была сломана.

- Не сомневайся, тезка, всё списано давно, просто руки не дошли - эту рухлядь вывезти... Что? Ещё спасибо скажут, что склад обезопасил в пожарном смысле. Сходи на конюшню, попроси лошадку.

Нагрузили. Получилась гора, вроде Олимпа или выше, на её вершину пришлось мне взобраться, мне подали туда вожжи. В сердце у меня гукал контрабас. Я представлял себе басиста, с открытым ртом и закрытыми глазами, он в экстазе, он крутит контрабас в ритме музыки, как карусель: дэди-леди-бледи-дэди!

Ехал лесом, спускался с крутого бугра. Шаткая копна деревяшек то и дело цепляла за деревья, я останавливал свою прыткую клячу, слезал с воза, собирал деревяшки, а они сыпались снова. Я потел и дрожал. Я сеял в бору лампочные арки и сломанные домры. Лишь бы довести контрабас.

Прибыл в свой посёлок на улицу имени Джона Гордона Байрона. Стал открывать ворота, подрулил к забору и стал кидать деревянные поближе к своим дверям. Камахина тотчас объявилась рядом:

- Это жечь будешь? Ты дай-ка мне ту вон столешницу и доски строганные дай, и арочку эту с патронами, мне-то в хозяйстве сгодится. А я тебе взамен настоящих дров дам, швырок березовый.

Ну вот. Всегда так. Я бы сам себе стол сделал, полки какие-нибудь из досок соорудил. Но отношения с соседями портить нельзя.

Поэзия, мечта, тайна. Скрипичный футляр, колки от гитары. Что-то из чего-то. Получится. Контрабас опять же. Достать струны. Контрабас долго стоял потом в изголовье моей кровати. Без струн души своё й. Без головы. И однажды у меня не хватило сухой растопки. 15. Бабушка и чарльстон

Да, я спас свою голову от излишнего напряжения извилин, когда им приходилось извиваться в виде строк скучнейших статей в райгазете.

Там был не рай. Но и в клубе я не встретился с ангелами. Неуловимый художник написал огромными буквами афишу, извещающую о том, что сегодня в клубе будет показан фильм: "Дорога на эшалот".

Тотчас мне начали звонить посёлковые грамотеи, спрашивая, а что это такое - эшалот? Я вызвал художника и строго спросил его: для чего он допустил это смешение кашалота с эшафотом?

- Так мне в кинофикации в накладной написали, так и я написал! - ответил он таким тоном, что, мол, в следующий раз сам писать будешь.

Руководи тут! Он изобретает эшалотов разных, а на меня идут жаловаться. В клубе только одних лампочек двести штук, и они постоянно перегорают. Получил недавно новые лампочки, ввернул взамен перегоревших, хожу по кабинету - чем-то приторно-сладким пахнет. Поднял глаза вверх, а от пластмассовых рожков потолочной люстры дымок тянется! Там были лампочки по сто ватт, а я ввернул - по сто пятьдесят, и - пожалуйста!

Каждый раз после танцев какие-то люди во тьме забираются под танцплощадку. Глеб пояснил: в бору парочку могут высмотреть, а под танцплощадкой этой столько всяких дыр. Удобно. Бросят окурок - пожар.

Вот записи в блокноте о неотложных делах на сегодня. Так. Надо забить штырь в уборщицу, похвалить стену, вызвать хлам из коридора, выкинуть из клуба Глеба... Гм... неразборчиво очень.

Не так прочёл. Надо забить штырь в стену (для пожарного ведра-конуса), похвалить уборщицу Надю, выкинуть хлам из коридора и вызвать в клуб Глеба... А это что записано? "Игра". А что за игра? Игра случая, в бирюльки, в кошки-мышки, на нервах, игра с огнём. А может, это написано "икра"? Да, вспоминаю. Ленир прогулял три дня и обещал мне принести поллитровую банку частичковой икры домашнего соленья... Гм... Что-то вроде взятки получается. Да ещё принесет ли? Он уж сколько мне всякого обещал, но всё забывает.

В прошлую субботу явились вечером в клуб рабочком Аверкин и секретарь парткома Кушлевич. Я как раз в радиорубке сидел, отворил - начальство. Строгие, коньячком попахивает.

- Где у тебя пластинка "Чунар"? - спросил Аверкин. - Давай её сюда!

- Чужая.

- Давай! - Аверкин выхватил из груды пластинок "Чунаря" и принялся с остервенением рвать и комкать пластиночные "ребра".

- Разложение понимаешь!

- Мы твои пластинки всё проверим, - сказал Аверкин, обдав меня струёй коньячного перегара.

Они хватали пластинки, читали надписи, иные диски сразу же ломали через колено и швыряли обломки под стол. Их деловитость меня озадачила:

- Подотчёт же это! Я чем платить буду? И почему ломаете?

- Чарльстон - не наше, а на тех - не по-русски писано, - ответил Аверкин, обнажая большие железные зубы. - Специально это, чтобы не сразу разобрались, но мы разберемся!

- А чарльстон даже по телику показывают: бабушка, отложи ты вязанье, научи танцевать чарльстон!

- Пусть себе бабушка вяжет! - сказал Аверкин. - Я в Москве был, все эти ваши трясушки запрещены, только духовые можно. Ты мне сделай, чтобы у тебя на танцплощадке трубы блестели, а то - смотри...

Разломали у меня половину пластинок. Там были и ни в чем не повинные танго и фокстроты, которые танцевались спокойно даже в сталинские времена. Наконец, Аверкин и Кушлевич вышли из моей студии, в которую уже колотили разгневанные танцоры, требовавшие включить музыку.

- Будет вам музыка! - мрачно сказал Аверкин. Они тотчас схватили за руки парня в размахрённых внизу клешах и с модным коком на лбу и потащили его по коридору:

Что было делать? Открыл им склад, они впахнули туда несчастного модника и двинулись отлавливать других.

- Я вам покажу, стилиги, несчастные! - хрипел Аверкин, отирая со лба капли пота, - он только что отконвоировал ещё одного паренька, вызвавшего его неудовольствие своим модным видом.

Остальные вскоре поняли, что тягаться с двумя бывшими лесорубами, да ещё ныне облечёнными высокой властью – бесполезно, и поспешили убежать подальше от танцплощадки.

- Ну вот, - удовлетворенно сказал Кушлевич. - Запомнят теперь надолго.

- Да уж! - невольно вырвалось у меня, - теперь я канатом в свой клуб посетителей не затыну: кому охота пойти в клуб, а попасть в кутузку?

- Ты не умничай сильно-то! - покачал Аверкин пальцем у меня перед носом. - Пусть лучше никто не ходит, понял? Чем такие вот... (он не нашёл слова) будут ходить!

Аверкин с Кушлевичем несколько раз обошли вокруг опустевшей танцплощадки. Ещё недавно здесь была весёлая толчея, лукавые взгляды, взгляды украдкой, мужские насупленные брови, летал над юными головами розовый ангел влюбленности и чёрный демон ревности.

Кому-то улыбалось счастье, кого-то вгоняло в транс разочарование, кто-то таил надежду.

И теперь свет прожектора заливал отполированные подошвами танцоров доски танцплощадки, но она была гладкой и круглой сиротой. Только фантик от шоколадной конфетки лежал возле входа и несколько окурков валялось под скамьей.

Стайки девчушек перешёптывались в отдалении, поглядывая на эту арену несостоявшихся удовольствий. Аверкин с Кушлевичем с насмешливой заинтересованностью глазели на девчат. Я подозревал, что в душе они сами были не прочь сплясать хоть буги-вуги, хоть чарльстон, хоть того самого "Чунаря" пресловутого. Но годы их давно ушли, танцевать новые танцы они не умели, да и не могли же они пригласить этих пигалиц, это было бы смешно. И они завидовали молодости, юной радости, их мучила невозвратность всего самого прекрасного в жизни.

- Что с этими будем делать? - кивнул Кушлевич на склад.

- Выпороть не мешало бы! - ответил Аверкин. - Жаль, что такого закона нет. В милицию их тоже сейчас не сдашь, там только дежурный, кто их конвоировать будет? На ключи! - протянул он мне ключ от склада. - Часа через два выпустишь, пусть часов до трех ночи посидят, понял?

Я кивнул. Чего зря спорить? Конечно, я выпустил пленников сразу после того, как Аверкин и Кушлевич удалились.

Парни сразу же приступили ко мне с кулаками, они желали взять реванш за свой позор. У меня ничего не было, кроме моего профессионального красноречия. Кое-как я их успокоил.



Они ушли, пообещав удавить Кушлевича и Аверкина, а клуб и контору сжечь, в самые ближайшие дни.

## 16. ЛИШНИЙ САПОГ

Вечером мы выезжали на гастроли в клуб далекого лесного посёлка, который уже потерял статус лесопункта и жил непонятно чем. Назывался он благородно и просто - Сорок четвертый.

Я бы хотел поставить дело так, чтобы в самодеятельных концертах выступали все работники клуба, тогда бы наша агитбригада не зависела от случайностей. Но на деле такую бригаду трудно организовать. Да, уборщица Надя очень хорошо пела, но её не пускал выступать ревнивый муж. Ленир, если я его просил выступить с гимнастическим номером, сразу же сообщал, что его на этот день вызвали в город в спорткомитет. Художник вообще казался привидением. Он появлялся в день полочки и аванса, и исчезал. Иногда, как бы сама собой, появлялась написанная его рукой свежая афиша. А где было тело, никто не знал.

Если Глебу случалось сходить с Петей Бяловым в пивной ларёк, он вписывал в соответствующей графе: "Проведен культпоход с группой в количестве 20-ти чел" То есть, он умножал себя и Петю на десять, а поход из похмельного превращал в культурный. Полистает он журнал "Драматургия" - и заносит в скрижали следующее: "Обсуждали с участниками др. кр. нов. др. пр." То есть, он хотел сказать, что участники драмкружка обсуждали драматическое произведение.

Не знаю, как повелась традиция выдавать спортсменам и самодеятельным артистам талоны на питание в дни гастролей. Кусочек бумажки с рабочкомовской печатью и надписью: "1 р." Предполагалось, что участники могут поесть в леспромхозовской столовой. Глеб забирал у меня все талоны, брал с собой футляр от баяна и бежал в столовую. Возвращаясь, он говорил, что принёс сухой паёк. Так было и теперь. Я открыл футляр: в нем перекачивалось несколько бутылок водки, и лежала всего одна булка хлеба.

- Это сухой паёк?! - потряс я бутылкой.

- Гад буду, сухой! - весело ответил Глеб. - Заведующий! Ну что мы обжираться на Сорок четвертый едем? Выступить! А артисты наши, какие? Самодеятельные! Они на сцене перед публикой само-обделаются, если их чем-нибудь не взбодрить. Почему пьяные будут? Перед концертом - чуть-чуть, только для куражу. Остальное - потом, после нашего бурного успеха, уже от радости!

- Ох, тёзка! Ты вспомни, за что тебя из клуба убрали? Опять к санаторницам захотел?

- Не боись, заведующий! Всё будет аккуратно! Комар носу не подточит.

В шесть вечера я должен был погрузить свой коллектив в вагон узкоколеечного поезда. Уже пришли девчурки из танцевального ансамбля, одна из них - дочка Аверкина, совершенная красавица с голубыми глазами, опушёнными длинными ресницами. В ней как бы смягчились отцовские черты, приобрели благородство и изящество. Пришёл Февраль, которого вообще-то зовут Федей, но он, видно, и сам уже об этом забыл и откликается только на Февраля. Я спрашивал местных - почему так его зовут? А они отвечали, мол, в Феврале-то дней не хватает.

Февраль был грозой посёлка. Он и в клубе вёл себя соответственно. Был случай, когда он встал перед портретом Ленина и показал ему что-то такое. Ну, в общем, то, что при публике показывать не рекомендуется:

- Вот тебе, дедушка!

Февраля увели в милицию. Потом отправили куда-то лечиться. Но он очень скоро объявился в посёлке снова. Однажды у нас выступала столичная концертная группа. Во время концерта мы закрыли входную дверь, иначе от безбилетников было не отбиться. Февраль обошёл здание клуба, выбил стекло в гримёрной. В момент, когда знаменитый солист, разевая свой небольшой рот на манер буквы О, выводил знойно-итальянское: "Выйди, выйди, выйди, выйди, выйди ко мне!" Февраль выскочил из-за кулисы и пошёл по сцене, говоря:

- Ну, вышел я, сука, вышел! Ну, чего ты базлаешь?! Закрылись тут!

Избавиться от Февраля не было никакой возможности, поэтому я сделал его как бы рабочим сцены. Он хотел чувствовать себя членом коллектива, покрутиться возле наших танцорок, сказать им какую-нибудь непристойность, на которую они никак не реагировали: мол, что с Февраля взять?

Мы отправились на одряхлевший узкоколеечный вокзальчик в следующем порядке: впереди шёл Глеб, окружённый стайкой танцовщиц, за ним Февраль тащил ширму для фокусов и чемодан с танцевальными сапогами, затем шагали наши хористки, замыкал шествие я, следя, чтоб никто ничего не потерял, никто не отстал.

В вагон мы сели благополучно. Вагон страшно раскачивало и мотало из стороны в сторону. Он скрипел и кряхтел, словно собирался развалиться. Поезд шёл так медленно, что можно было сойти с передней площадки вагона, постоять, покурить на природе, а потом сесть обратно в тот же вагон с задней его площадки.

Со мной рядышком на лавку присела красивая Аверкина и неожиданно опустила свою русую головку на моё плечо:

- Домой вернёмся поздно, заведующий?

- Часа в два. Пока - концерт, пока - обратный поезд... - я боялся шелохнуться.

- Мне бором одной будет страшно домой идти, проводите потом, заведующий? - продолжала изводить меня Аверкина.

В маленьком сарайном помещении посёлкового клуба было темно. Сломался движок. Решили выступать при керосиновых лампах. Раздвинулся занавес, наши вокалисты исполнили песню о лесорубах. Так было положено. Затем завихрились в танце стройненькие танцовщицы.

Наступила моя очередь. О! Уроки Гурия! Я вышел на сцену, покуривая огромную сигару. Аверкина тоненьким пальчиком показала мне плакат, прикрепленный к ширме: "Курить запрещается!" Я вынул внушительный стартовый пистолет, прицелился в плакат, бабахнул выстрел, и в этот момент на ширме появилась надпись: "Курить разрешается!"

Штука в том, что первый плакат был прикреплен к куску материи, который свисал с ширмы и был точно таким же по фактуре, как сама ширма. За ширмой две девушки держали концы лоскута в руках. В момент выстрела сдёрнули материю с плакатом к себе, она улетела, обнажив при этом скрывавшийся под нею другой плакат, разрешительный.

Лесорубы нам долго аплодировали.

В тёмных домах посёлка светились смутноватые окна. Совсем уж крохотный вокзальчик был увенчан шпилем, еле видным во мгле. Погрузились в вагон, ещё покричали, попели, но вскоре многие начали дремать под стук колес и завывание нашего тепловозика. Аверкина как-то отыскала меня в темноте. Мы вместе вышли из вагона, направились к клубу.

Нам отворил сонный сторож, я включил в кабинете свет, стал считать сапоги. Один сапог был без пары. Ёлки-палки! Пара этих красных сапог стоит сто восемьдесят рублей. Почти две моих месячных зарплаты.

- Ну, заведующий, - нетерпеливо спросила Аверкина, - когда же вы пойдёте меня провожать?

- Одного красного-сапога не хватает, - сказал я расстроенно, - ты не заметила, кто его потерял?

- А ты даёшь, заведующий! - сказала она с брезгливой ноткой, - я чём приставлена за твоими сапогами следить? Может, один сапог лишний!

- То есть как?

- А вот так! - выкрикнула и ушла, хлопнув дверью.

Действительно! Лишний! Вот логика! И что потеряли? И что могли бы потерять? В бору? В левом моём ухе Гурий произнес: "Сами-то сами! А сидеть-то придётся нам!"

## 17. МЕМОРИАЛЬНОЕ ТРИО

Раз вечером кто-то заскрипел у меня на крыльце, в окно стукнули, я отворил дверь и увидел Аверкина с Кушлевичем.

- Где у тебя передатчик?! - закричал Аверкин.

- Какой передатчик? - удивился я. Между Аверкиным и Кушлевичем просунулась голова Камахиной:

- Тут он у его! Только что тикал! Как ночь, так стучит, тикает, передаёт в Японию, а может, ещё куда. И тикает, и тикает!

- Очумели вы все! - сказал я возмущённо, - ну та хоть из ума уже выжила, а вы-то?

Аверкин и Кушлевич обводили глазами мою комнатушку с углой обстановкой. Меня это злило: благополучные, сытые, холёные. Спят, поди, на диван-кроватях, обставились мебельными стенками, ещё и книжными шкафами наверняка обзавелись. Врываются тут, незваные.

- Печатаю я на машинке, кому какое дело?

Аверкин подозрительно осмотрел мою "Москву" и спросил:

- Зарегистрирована?

- Где? В загсе, что ли? Так я её пока замуж не выдавал, она у меня холостая.

- Ты мне не шути, - сказал Аверкин, - я тебя серьёзно спрашиваю.

- Кто же машинки регистрирует? У вас в конторе "Ундервуд" зарегистрирован?

- Организациям это не нужно, а частники должны регистрироваться. Может, ты листовки печатать начнёшь.

- Листовку можно и карандашом написать, что же мне все карандаши тоже зарегистрировать?

- Что скажем, то и будешь регистрировать!...

Посёлок шпалозавода - не Рио-де-Жанейро, но за курьёй, среди болот есть неплохие прогалины, с калинами, рябинами, с ягодниками и березовыми колками.

Я вышел на улицу Д. Г. Байрона. Возле своего барака я услышал истошный крик. Убили кого? Покалечили?

Дело было в том, что недавно Феня Камахина устроилась почтальоном. Только в первые дни новой службы она кое-как доставляла почту адресатам. Потом приловчилась облегчать почтальонскую сумку, выбрасывала письма и бандероли в укромных местах. А в этот раз была так пьяна, что решила: достаточно того, что донесла корреспонденцию до сортира. Ещё долго после увольнения Фени с почтальонского поста жители окрестных улиц находили, послания от родственников из других городов на помойках, свалках и даже в колодцах. Так жители улиц Д.Г. Байрона, Ф. Рабле и П. Мериме были ущемлены в своих правах.

Дядя Саша зашёл ко мне в выходной в телогрейке своей и новой, пригорюнился:

- Земеля, ты вот пишешь, может, совет дашь? Сын у меня в Донбассе. Шахтёр. Партийный. Вот - фотка, старухе прислал. Без меня рос, в детдоме.

Может он похлопотать, чтоб мне к нему со старухой приехать доживать?.. Так вот, бери бумагу, пиши, я тебе скажу, чего писать...

Я написал письмо под диктовку, он хотел дать мне десятку, я отказался...

- Ладно, земля, - сказал он, - я тебе потом с Донбасса яблоков пришлю! Ну, бывай!

Когда я вышел прогуляться, Кент от своих ворот кивнул мне, и сказал:

- Мокрушник просил тебя письмо накатать? Во-во! Сын - начальник! К себе заберёт!.. А парень в детдоме вырос. На хрен теперь ему папа - уголовник?

И засмеялся, закашлялся, руки у него тряслись, глаза слезились:

- И я детей не воспитывал, - сказал он. - С какими бы глазами я теперь явился? И зачем? Пенсия, конечно, мизер, но я и лёжа копейку с любого бока возьму. А ему до смерти баланы катать.

Мы ещё постояли, покурили на солнышке. Я уходил, когда Кент крикнул:

- Эй! Ты, может, потом и про нас с Рысем чего-то черкнёшь? Или - запретная тема? Ну, жалеть нас не за что, факт! Но ведь тоже жили-были, а?..

Он сунул трясущуюся руку за пояс и глянул на меня широко раскрытыми глазами в длинных ресницах. И подумалось: а ведь он в молодости наверняка был очень красив!

Я простыл, у меня заболел зуб. Пришёл дядя Саня Рысь возвращать занятую у меня десятку. От его пронизывающего взгляда не ускользнуло моё состояние.

- А-а! Зуб! Мы в тюрьме как зубы лечили? От этого первое лекарство - сыгыз. Табачный мед из трубки, деготь этот. Наскребешь, на зуб намажешь. Ищи - кто трубку курит.

Он помолчал, потом спросил:

- Земеля, я помру, ты меня провожать пойдёшь? Возьми сотнягу, ты - при музыке, оркестр мне сделай.

- Ты что, дядя Саша, - сказал я, - тебя ломом не пришибёшь!

- Я брёвна катаю, прибить может. Случаи бывали. Возьми сотнягу, до времени храни.

Я взял. Захочет выпить, заберёт обратно. Поработаю сберегательной кассой, правда, без выплаты процентов.

Через два дня ко мне вбежала в комнату почерневшая и высохшая до состояния мумии, жена дяди Сани. Она трясла кистями желтых рук, на которых повыцвели от времени наколки, вихлялась и говорила:

- Дядя Саня тебя просит, ждёт землю с Томскова! Иди, милый! Ждет он землю!

Не очень хотелось идти к нетрезвым соседям, но если дядя Саня сам зовёт, то, видимо, по делу? Мы прошли в дяди-Санину квартирку. Дядя Саня Рысь стоял на коленях перед койкой, голову он просунул меж прутьями кровати спинки. Зачем? И как голова меж прутьев прошла? Разогнул немного? А теперь голову вытащить не может?

- Земля с Томскова к тебе пришел, дорогой! - завихлялась, загримасничала бабка.

- Земля с Томскова! - передразнил её на крыльце Басенок.

Я заглянул дяде Сане в лицо. Оно посинело, изо рта торчал язык, словно дядя Саня дразнился.

На другой день я организовал для земли оркестр. Глеб Тюменцев согласился постучать в барабан, Ленир умел играть на трубе, баянист Толя Бялов взял тубу.

Я спросил их:

- Как же вы втроем играть будете?

- А что? Всё по уму, - сказал Ленир, - я мелодию веду на трубе, Толька басит, Глеб в стукалку бухает. Первый раз, что ли? Ещё как оттарабаним!

Сопровождали покойного трое жителей нашего барака, трое музыкантов, пьяная бабка. Восьмым в процессии был я. Выпили на поминках, вернулись в клуб. Глеб взял футляр из-под баяна и побежал покупать водку. Известно, стоит немножко выпить, как выпитое начинает канючить: "Ещё! Ещё!". На моём директорском столе зазвонил телефон. Я снял трубку и услышал полузабытый мятный голосок:

- Может быть, вам это неинтересно, но у меня Инна должна появиться.

Вот, думаю, ещё того чище. Этак каждая знакомая, к которой подружка приезжает, будет мне докладывать.

- Вы тоже имеете отношение к её будущему появлению, хотя вам это, может, и неинтересно. Не сразу понял. Словно пуля просвистела у виска. Потом краска прилила к лицу. Сказал:

- Приезжайте, отдыхать, места здесь чудесные...

## 18 . ПОДЕРЖИСЬ ЗА РОЯЛЬ

Никто нас с Дарьей не провожал. Никто не плакал. А вещей было - чемодан да Дарьяна сумка. У меня в паспорте стоял штамп, так что я был к Дарье как бы припечатан. Конечно, в подсознании жило представление о будущем потомстве. Это скрашивало некоторую печаль от ощущения потери свободы. Так было надо. Я привёл паспорт в соответствие с возрастом. А то паспортисты мой паспорт начали бы уже рентгеном просвечивать.

В бараке на Нижним складе Дарья отказалась жить наотрез. И ещё сказала, что учителю быть замужем за клоуном невозможно, значит, надо мне вернуться к прежней профессии. На помощь Кропачева я не мог рассчитывать, но вспомнил, что на одном журналистском совещании познакомился с редактором Дугарской газеты Варсалавым. Он по телефону сказал кратко:

- Приезжай! Квартира двухкомнатная.

Я сдал клубные дела Тюменцеву. Часа два тряслись мы с Дарьей в автобусе, и вот Дугарка. А вот и Советская, 5. Двухэтажный брусовой восьмиквартирник. На лестничной площадке между первым и вторым этажами - телефон общего пользования. Комфорт! Я позвонил редактору: прибыли!

Он не заставил себя долго ждать. Редакция в двух шагах от этого дома, как и школа. Редактор поцеловал Дарье руку, потом пожал мою пятерню и передал мне большой ключ от всячего замка:

- Отпирайте!

Я открыл замок. Вошли в квартиру. Редактор обвёл её щедрым жестом и спросил нас:

- Нравится?

Я осмотрел жильё придиричиво. Хотя и с печным отоплением, но всё же не барак. Потолок высокий, окна большие. Дарье, как учительнице, в сельской местности дрова положены, вот и будем топить бесплатно.

Я влился в новый коллектив. Редактор Фёдор Степанович Варсалаев был ростом невысок, с узкими плечами, но развитыми руками. Фигура не как у Аполлона, пузцо выпячивается. Волосы зачёсывал он назад, но лоб всё равно был низковат. Не понял я, какого цвета у него глаза, запомнилось нечто сверлящее. Голос был надтреснутым, как кринка.

В Дугарке получил наш шеф квартиру в райкомовском доме и до сей поры обставлялся. Новую мебель чаще других таскали шофер Кузьма Колбас, литраб (литературный работник) сельхозотдела Гриша Вырдииков и ученик печатника Генка Костин. В этот день к ним добавились ещё Вовка Толк и я. Меня обычно редактор к таким работам не привлекал, но в этот день мне сказал:

- Рояль на второй этаж нести, айда, хоть за краешек поддержишься.

Вовка Толк увязался идти со мною. В нижнем этаже у Варсалаева - кухня и гостиная, на втором этаже - спальня и комната для занятий, кабинет то есть, туда и нужно было тащить рояль. Потасили рояль наверх. Больше всех суетился Вовка Толк:

- Мужики! Не так. Глебац, дави вправо! Кузьма, подними свой край. Эх, слабаки!

Сам Вовка только криком и мог помочь, он волочил ногу, и одна рука у него сохла, почти не действовала. Я думал: неужто наш редактор ещё и пианист-виртуоз? Он пояснил: детишки подрастают, надо ж им развиваться? Затащили рояль. Супруга Варсалаева Ирина Петровна уж и на стол собрала, в вышитом полотенце принесла запотевшую бутылочку и водрузила в центр стола. Варсалаев разлил вроде и поровну, а всё же чуть больше - мне, чуть - меньше - Толку, ещё меньше - Кузьме, и уж совсем мало - Вырдиикову и Костину, правда, заметить это можно было, лишь приглядевшись. Всё у редактора есть, а жалуется:

- Ну да, квартира в двух уровнях, кирпичный дом. Так ведь холодно зимой, а огородик какой? Три грядки. А у меня - семья, корова... Кузьма, сенцо-то в Калиновке как, сохнет?

Кузьма, согнувшись от почтения, угодливо отвечал:

- Ещё пару погожих деньков и метать можно будет.

Этого Кузьму Варсалаев в глухоманной деревушке нашел. Мы и обрадовались: профессионал, такой исполнительный. У нас он в момент постиг главное: лучше угождать одному редактору, чем всему коллективу. Нам в командировку надо, а он:

- Резину меняю, тяги ослабли, вообще бензина нет!

Поели. Раскрасневшийся редактор подмигнул нам:

- Мужики, выйдем-ка во двор!

- Вышли.

- Складывайтесь, мужики, на пару пузырей, за ухой двинемся, поняли? Надо ж расслабиться, на природе побывать?

Вырдиков шарил по карманам, делая вид, что там что-то было, и он никак не может найти. Я отдал свой трудовой рубль без звука.

- На Тарабыкинские пески едем, туда, где великие реки сливаются, темная и светлая вода. Стерлядку ведь любишь? - задал риторический вопрос Варсалаев.

Остановились в тальниках. Кузьма деловито зачерпнул из колдобины пригоршню застарелой грязи и шлепнул на номер автомашины. Ещё, ещё.

- Мотор глушить не будем, - вполголоса сказал он.

Варсалаев стоял на холме, как полководец перед боем. Более хриплым, чем обычно, голосом он сказал:

- Вырдиков и Костин берут бредень - заводят, я буду загонять, Глебычев - на берегу с мешком. Кузьма и Толк - у машины, один смотрит влево, другой - вправо.

Варсалаев посоветовал мне держаться с мешком поближе к воде и полез в Обь. Вырдиков и Костин тащили за ним бредень огромных размеров. Варсалаев запрыгал в воде, захлопал по ней ладошами и захрипел вполголоса:

- Ну, давай, не спи, тут яма, самая рыба! Да глубже, говорю! Намокнуть боитесь. Не сахарные, не растаете! Ближе ко дну, кому говорят!

Редактор вдруг уходил с головой под воду, выныривал, отфыркивался, тараща глаза, полные первобытного азарта охоты. Костин старался, Вырдиков симулировал, лишь изображая стремление завести бредень поглубже. Нет, поди, ничего. Но они вывели бредень к берегу, и я увидел благородную зубчатость стерляжьих спин. Варсалаев помогал мне выпутывать стерлядок из ячеек, зло посверкивая глазами:

- Быстрее нельзя?! Ты их пока подальше на берег швыряй. Ишь, вьется...

Самых маленьких рыбешек он швырнул обратно в воду:

- Пусть растет! - дескать, заботимся о будущем, понимаем.

Мешок у меня был почти полон, всё тяжелее было его таскать по песку, а Варсалаев всё нырял, хлопал по воде, кряхтел, фыркал. И вдруг воскликнул:

- Ну, мужики тарабыкинские, гады-браконьеры! Вырдиков, помогай, тут они мордушку поставили!

Вытащили они корчагу ивовую, а в ней и нельмочки были, и язи, и окуни.

- Может, хватит? - спросил я. Варсалаев аж подскочил:

- Как хватит? Только начали!

Вырдииков покрылся пупырышками и мелко дрожал. Быстро темнело. Кузьма и Вовка стояли в дозоре. Варсалаев барахтался в воде с остервенением.

- Катер где-то стучит! - крикнул я.

Кузьма, которому, видно, не терпелось выпить, подтвердил:

- Вроде стучит где-то...

Варсалаев поплыл саженками к берегу:

- Быстро тащите в машину рыбу и бредень прячьте в багажник!

В Дугарку прибыли в третьем часу ночи. Тихо подрулили к складу типографии. Варсалаев открыл склад, втащили туда мешок, при свете автомобильных фар редактор стал делить добычу. От огромного рулона бумаги оторвали шесть кусков и расстелили на цементном полу. Варсалаев взял самую крупную рыбину и положил на ближний к нему лист бумаги:

- Жена у меня икряную любит. Раз! А это Николаевичу. Раз! - положил он мне рыбину чуть поменьше. Ещё меньшую нельму под счет "раз" кинул он Кузьме, Толку досталась ещё меньшая нельмочка, Вырдиикову - подъязок, бедолаге Костину - маленький окунёк. То же было и на счет "два", и так далее. Редактор даже запыхался. Порции рыбы оказались у всех разными. Особенно диссонировала огромная гора рыбы возле ног Варсалаева с жалкой рыбной кучкой возле ног будущего печатных дел мастера. Но Варсалаев потер руки удовлетворённо:

- Ну вот, без обиды, всем по сорок три рыбины. Разбегаемся. На работу не проспять бы. Приятно было пообщаться.

Я еле нес свою долю добычи. Отсыревшая бумага грозила порваться. Утешало лишь то, что Варсалаев теперь мучается ещё больше.

## 19. КРАСОТА И СИЛА

За столом в большой комнате сельхозотдела Вырдииков быстро писал, держась левой дланью за то место, где предположительно у него внутри находился желудок. Лицо цвета сырого мяса показывало, что вчера он изрядно поддал зеленому змию. Так-то вино и водка вовсе не зеленые, но в старину, говорят, делали штофы из зеленого стекла.

До моего приезда в Дугарку Вырдииков был первым секретарем райкома комсомола. Для меня такие люди были всегда загадочны: как они наверх выбиваются? Умны чрезвычайно? Но, сидя рядом с ним, я этого не чувствовал. Тогда что же? Вырдииков появился у нас неожиданно, и Варсалаев пояснил, что заставили нас принять разжалованного. Журналистских навыков у него нет, но, поскольку он родом из деревни, пусть про сельхознавоз пишет. Я поинтересовался, за что Вырдиикова разжаловали. Варсалаев ответил кратко:

- Горло широкое и аморалка.

В селе работает беспроволочный телефон, да и сам Вырдииков многое рассказывал. Как с местными комсомолочками дружил. И всякое. Сидит, сидит - вскинется:

- В Москве цековскую даму тюкал! Гостиница - гогли-могли. Баба эта - фигли-мигли! Ещё на собеседовании на меня глаз поставила. Если нет в номере, орёт: "Где эта сила, молодость и красота?" Ну, дачи-чачи. Сырые яйца пил. Как динамо, крутилась. В цека таких отбирают...



Что ж, Вырдиков высокий, глаза голубые и лицо не слишком противное, грубоватость некая во всём обличье проглядывает, но для иных женщин оно, может, и лучше. Работал он в колхозе. Сам он крупный, голос зычный, на комсомольских собраниях часто выступал, разные инициативы, спущенные с районных небес, поддерживал.

Стал секретарем первичной ячейки, и пошёл. Дошёл до райкома, мог бы и дальше шагать, да змей этот самый в ногах запутался. Вызвали комсорга по делу в обком, он и решил: сделал дело - гуляй смело. Из обкома пошёл в ресторан "Север". Ел, пил. А проснулся в театральном сквере, в кустах, как раз напротив обкома. Смотрит - на нем штанов нет, и папочка пластмассовая куда-то исчезла. Мама родная! В больном желудке похолодело: пропал! В брюках партбилет был, а в папочке - полученные в обкоме секретные комсомольские документы.

Похмельная голова лихорадочно искала выход. Люди в обком группками спешили - значит, рабочее время уже. Побежал он, как был, в ковбоекке с позолоченным комсомольским значком и в плавочках, в бюро пропусков. Назвал себя, сообщите, мол, начальству: сидел в сквере, подошли неизвестные, дали что-то понюхать. Очнулся - ни брюк, ни документов.

Вскоре появились агенты, задали дрожавшему от похмелья и страха Вырдикову несколько вопросов и ринулись в сквер. Минут через десять они принесли в обкомовский этот санпропускник и брюки, и папку. Брюки, свернутые в трубку, лежали в одном месте сквера, и партбилет, как ни в чем не бывало, был в этих брюках в кармане, а папка лежала под другим кустом, возле самого театра. После выяснилось, что всё документы в папке находились в целостности-сохранности, хотя, возможно, империалистическая разведка с них уже и сняла копии.

Что же сделали с Вырдиковым? А вот то самое. Перевели в редакцию: мол, на журналиста-то всё равно тянет. Ну, строгача в учётную карточку записали. Вырдиков и теперь, как выпьет, задумается да и скажет:

- Не мог я тогда этот зассанный сквер сам обыскать? Что я теперь? Назло нас Фунт вонючий в черном теле держит.

- Какой Фунт?

- Да редактор наш. Три наборщицы при нем сменились, шофера уже четвертого берет за полгода, лучший печатник из-за него из района смотался. Кто ему огород не полет, задницу не моет - в аут!

Наша газета была скучна до остервенения. Еженедельно Вырдиков составлял огромную таблицу, которая занимала две внутренние страницы газеты. Длинными рядами шли фамилии доярок и скотников, названия совхозов и колхозов, цифры полученных надоев и привесов. Прихватив листы с цифирью, я направился к редактору.

- Фёдор Степанович! Зачем нам две страницы канцелярщины?

- Сводки наверху ждут.

Мне вспомнился плакат, висевший в войну возле томского главпочтамта. Вдрабадан пьяный Гитлер, с фонарем под глазом и забинтованной щекой, быстро пишет, глядя на недопитую бутылку. Из-под пера летят брызги. И подпись под плакатом: "Гитлер сводки пишет с водки".

- Пусть бы сельхозуправление и давало сводки райкомовцам, если те их сильно любят, а сельчане своих лодырей и передовиков и так знают.

Варсалаев сказал:

- Газета ведь - коллективный организатор. Твоим фельетонам, старик, место всегда на четвертой странице найдется.

Чуть не всю первую страницу Варсалаев обычно занимал своей передовицей. Так было и теперь. Свою статью он списал с передовицы "Правды", призывавшей уделять больше внимания тяжелой индустрии. Ничего даже отдаленно напоминающего индустрию, да ещё тяжелую, в нашем районе никогда не было, но шефа это не смутило.

"Металлолом - хлеб тяжелой индустрии! - восклицал он в статье, - Дугарский вторчермет (тов. Додыкин), в общем, справляется с плановыми заданиями, но нужно изыскать резервы и значительно увеличить сдачу лома. Нужно подтянуться комбинату бытового обслуживания и льносушилке. Укреплять тяжелую индустрию страны - долг каждого сельского коммуниста..."

Я уже знал, что Варсалаев сумеет приспособить к местным условиям любую передовую статью из "Правды". При этом он требовал, чтобы я оценивал его статью по максимуму, начислял бы ему за неё как можно больше.

На четвертой странице газеты мы обычно помещали письма трудящихся, сатиру и юмор: "На острие пера". Но на перо любого районного журналиста можно было совершенно спокойно садиться голым задом. "Письма трудящихся" приносили чаще всего благодарности врачам и медсёстрам. Любая престарелая тётя Маня спешила известить весь свет о том, что на мягкое место ей были поставлены припарки и примочки фельдшером имярек. Был тут хитрый крестьянский расчёт: благодарность ничего не стоит, зато потом умереть не дадут.

В жалобах в разные инстанции нередко под словесной шелухой мне удавалось обнаружить зёрна будущих фельетонов. Правда, клеймить позором (как и ныне) разрешалось лишь птиц низкого полета. По более высоким стрелять не давали редакторы и партийные боссы. Напечатал я там статью критическую "Хвостатые чудовища" про длинные очереди. Вырдиков предупредил:

- Николаевич, остерегись. Мало ли, что никаких фамилий нет. Всё равно. Дугарка! Тут звери, а не люди. Меня же съели? Жалобщики, жлобы...

Радиоорганизатор, поседелый брюнет Георгий Арнольдович Зеленовский и какой-то субъект на крыльце.

Зеленовский кричит:

- Глеб Николаевич!

Подхожу. Понизив голос до полусшепота, Зеленовский выдохнул:

- Луктинёнок! Наш новый сотрудник.

Гм... Фамилия как у председателя облисполкома. Луктинёнок этот - крепыш, с черной челкой, миндалевидными глазами, крупными зубами, всем видом напоминает лошадку-монголку, в лице и фигуре асимметрия некая.

- Николай! - протягивает он руку.

Зашли внутрь, Зеленовский завёл речь о том, что приезд сотрудника следует обмыть.

- Никаких выпивок на рабочем месте.

- А на рабочем и не будем, Варсалаев велел временно, до получения квартиры, Луктинёнка в твоём кабинете разместить, так что после шести вечера - он в своём жильё, а мы у него в гостях.

Луктиненок мне передал письменное распоряжение Варсалаева, который как раз был в Томске в командировке. Арнольдич тем временем канючил:

- Николаевич! Пятёрку. Всё равно отдавать, хоть рупь, хоть червонец!

Арнольдичу платил деньги отдел культуры, и этот бывший учитель русского языка вещал на весь район хриплым пропойным басом из какого-то закутка в райисполкоме, где у него была студия-курятник. Именно за бас его назначили диктором. Но было ясно, что это не Левитан. Отвещав, или, как он сам он говаривал, отвизжав, Арнольдич из своего одинокого закутка бежал в редакцию, за моральной поддержкой.

Теперь, схватив пятерку и порыжелый и порванный кофр, Арнольдич двинул за вином. Не успел Зеленовский вернуться с этим кофром из магазина, как в редакции возник Вырдиков, словно за версту почуял запах спиртного:

- У меня сегодня вечерняя работа, - сказал он хрипло, - вот и поспешил сюда, хотя дело к вечеру.

Стрелки часов показывали половину шестого. Ждали конца рабочего дня. Луктиненок сидел, созерцал пол, теребя рукав не первой свежести рубашки. Из соседней комнаты слышалось нечто среднее между плачем младенца и поросычьим визгом. Луктиненок вздрогнул. Я знал, что это Арнольдич мучает свой диктофон. У него всегда там за что-то цеплялась пленка. Вот вроде наладил. Послышался искажённый диктофоном голос Зеленовского:

- Так в чём же секрет высоких надоев, Прасковья Яковлевна? Может, поделитесь?

Визгливый женский голос отвечал невнятно:

- А ой еет? Авать анно, ыть, оить, ар и опы, а-а, о-и. И ое-ие!

Обрывки этих слов перекрыл залиvistый лай.

- Наложение вышло, - пояснил Зеленовский, - от меня чуть винцом припахивало, собачки не любят, если с похмелья. Ничо - только оживит репортаж, собаке ведь пасть не заткнешь.

- Не пропустят! - сказал я.

- Чо они понимают! Это - художественность. Я им так и скажу. Уже шесть, можно начинать!

Вот, чёрт возьми, превратили мой кабинет в распивочную. Ещё обокрадет редакцию Луктиненок этот. Тоже мне - житель моего кабинета! Зеленовский извлек из кофра две бутылки водки и три здоровенные икряные селедки. Хорошо хоть в райцентре все продавцы журналистов знают, и не подсунут вместо селедки какую-нибудь гниль. Дверь распахнулась, и вошёл Толк. Прямо как бабочки на огонек, чёрт знает что!

- Принимаете в складчину? - сказал Толк и выставил на тумбочку бутылку лимонада. Хитрец! Лимонад поставил, а выжрет граммов двести водки, даром что инвалид.

Все выпили, я лишь пригубил: должность, она обязывает бдеть. Сдержаться трудно, пристают: не уважаешь? Пусть пьют. Вот селедочки, жирненькой, икряненькой - иное дело. Одну уж раздербанили, там ещё пара осталась. Попрошу себе кусочек побольше в качестве компенсации за невыпитую водку. Селедка была в бумажке на тумбочке, где же она?

Вырдиков подошел:

- Вот же бумага, видишь, вся в жиру? Куда же рыба делась? Может, на пол упала, за тумбочку? Нет?

- Эй, кто взял, бросьте эти штучки!

Арнольдич и Толк крутили головами. Сидевший возле тумбочки Луктинёнок потупился:

- Не ищите, я её съел...

- Всю? - уставился на него Вырдиков.- Ну, Чурбанипал! Я любя, не хмурься. Обопьешься ведь, там ведь килограмма полтора было, без хлеба, соленая! Язву наживешь.

- Я селедку люблю, - стеснительно сообщил Луктинёнок.

Вырдиков приставал к Луктинёнку:

- Вот вы, говорят, писатель, но у писателя должны быть книги.

- Издание - это уже другой процесс, важно, чтобы я чувствовал удовлетворение от написанного.

- Вы писатель от слова "писать" - сказал захмелевший Вырдиков, - но мы все иногда пишем, а писателями себя не считаем.

Луктинёнок вскочил:

- Я больше здесь не могу находиться! - и хлопнул дверью.

- Ну что ты, Григорий, за человек? Где он теперь ночевать будет? Никого здесь не знает.

- Ничо, сходит попишет и вернется. Он же писатель, ему писать почаше нужно. Знаешь, зачем Фунт его в редакцию взял? У него дядя председатель облисполкома. Фунт надеется на поблажки для редакции. Хоть и непутевый, но всё же родственник начальника.

- Ты, Григорий, хмельной несносен. Чего ты редактора Фунтом навеличиваешь, что он тебе сделал?

Вырдиков уставился на меня тяжёлым взглядом:

- Ты, Николаевич, здесь человек новый, а мы - здешние. Мы в чьём кабинете сидим?

- В моём.

- Ты тут недавно, а раньше тут почти десять лет Саллямов сидел. Ты ведь его не видел, не знал?

- Не знал, но кое-что о нём уже слышал. Говорили, что покончил с собой, повесился, трагедия какая-то была.

- Ну, так это его Фунт повесил... Сам? Но в петлю-то всё равно Фунт запихнул. Вот Арнольдич не даст соврать. Да ты у типографских спроси. Саллямов работник был, горд был, что до ответсека дослужился. Ну, выпивали иногда. Работа адская, надо же расслабиться. А баба у него - язва, как моя же. Все они в лес смотрят. Ну, повздорил он со своей: газовую плиту ногой вместе с кастрюлей и горячим супом перевернул.

- А Варсалаев при чем?

- Не встречай. Саллямиха его выперла. Он где-то ещё поддал. Утром с большого бодуна в редакцию пришел, поди, соображал с трудом: где он, что с ним. Ему б денег призанять да голову на место поставить. А тут Фунт из райкома прибежал и орёт:

- Ты зачем пришел? С работы ты уволен, из партии мы тебя исключили, пойдешь в райком, сдай партбилет!

У Саллямова голова на ушах стоит, того сообразить не может, что просто так не уволят, без собрания и беседы в райкоме из партии не исключают. Он к этому партбилету, может, через леса дремучие продирается, а Фунт ему - как обухом по голове.

- Редактор не подумал, что из этого может получиться. Человек, не камень, тоже погорячился.

- Ага, погорячился. Он Саллямову подсказал даже. Саллямов у кого-то в типографии признался на опохмелку, идет мимо редакции, а Фунт из окна высунулся и кричит:

- Как? Ты ещё не повесился?

Вот после этого Саллямов на тот берег Оби уехал, одну пол-литру полностью выпил, вторую едва почал. Написал резкое письмо про нашего Федю долбабона, про некоторых райкомовских тупиц, и - веревку на шею.

- А что именно написал?

- А что к себе гребут, как оглашенные. И приписку в письме сделал: кто найдет - не робей, я был не робкого десятка...

- Вот уж храбрость... уйти без всякой пользы.

- Деревенский, простой, искренний. А Фунт, когда похороны были, бегал, типографских страшил: "Кто смеет идти антисоветчика хоронить? Запрещаю красный материал на похоронах использовать и звездочку над могилой ставить!". Идеальный Фунт-то. - Вырдиков понизил голос: - он, поди, в органах на полставки... Помянем Саллямова.

- Хватит, - сказал я, - напоминались. Вон во дворе Луктинёнок мается, ему ж отдыхать надо, пойдём по домам.

Вырдиков заартачился, но я открыл дверь и пригласил Луктинёнка отдыхать, отдав ему ключи от редакции. Утром велел быть на месте.

Пошли мы домой вместе с Толком, он - большой психолог - приобнял меня:

- Не бойсь, Николаич, Луктинёнок, конечно, махру курит, но редакцию не сожжет, в маразм ещё не впал, соображает... Знаю. Его деревня в пятнадцати верстах от нашей деревни. Грамотный... Литинститут заочно в Москве заканчивает.

- А чего он столько селёдки слопал?

- Как - чего? Деньги, что жена дала, он в Томске натурально пропил. Он там, может, долго валандался. Оголодал, вот и сожрал, чо тут...

## 20. ЗАМУРОВАВШИЙ ЖЕНУ

С Луктинёнком тогда всё обошлось. Редакция не сгорела. Однако мои ожидания насчет того, что редакции будет от нового литраба<sup>4</sup> огромная польза, не спешили оправдаться.

Весь первый день работы лист перед Луктинёнком на столе остался не тронутым пером. Я не говорю - чистым, ибо использовали мы для написания своих шедевров как раз мятую, грязную, порванную бумагу. Когда рулоны везут в

<sup>4</sup> Литраб - литературный работник

грузовике из города, верхние слои рулонов грязнятся, рвутся. Вот эти слои мы сматываем и кроим для редакционных нужд.

Говорит, что ему надо поймать настроение. Сказал ему, что если все станут настроение ловить, то газета выходить перестанет. Он нахмурился. Возможно, он будет давать в газету лишь художественные произведения. А газетные статьи будет писать его жена, когда они получают квартиру.

- Приятно будет с ней познакомиться! - сказал я редакционному писателю, присел к краю стола и принялся строчить.

А сам всё про семейное счастье думал. Тогда рыбу из поездки привез, сказал Дарье, чтобы выпотрошила, почистила, положил пакет возле порога, гордился, как первобытный охотник, добычей, а Дарья сказала:

- В ней, может, описторхоз!

Я пояснил, что рыба эта благородных сортов. Пошёл спать, усталый, на неё понадеялся. А она эту рыбу так у порога и оставила. За ночь кошка всю рыбу распотрошила. От каждой рыбины по куску отгрызла.

Дарья обрадованно сказала:

- Теперь эту рыбу есть нельзя.

Я - корабль. Но куда плыть, если обшивка корабля разваливается, переборки вот-вот лопнут...

Дверь распахнулась, нечто дурное, седое, дикое ворвалось к нам:

- А! Изверг, изувер! Замуровал семью, душегуб! А-а! Вот тебе, вот!

Старуха что-то выплеснула на брюки Вырдикова из флакона, он вскочил, она швырнула ему флакон под ноги и чиркнула спичкой. Вырдиков взвыл, с треском разорвал и скинул с себя загоревшиеся брюки.

- Николаич, держи сучку!

Старуха резво выскочила из редакции, разбила кулаком оконное стекло и хрипло прокричала в отдушину:

- К прокурору, в милицию, в кагебу! Упеку навечно, под расстрел подведу.

Пахло палёным, голый Вырдиков рассматривал свои волосатые ноги:

- Ну, десант! Ничего реакция? А? Почти не обжёгся, только красные пятна на ляжке. Можно меня в разведку пускать?

- Кто это тебя? За что?

- Теща-дура.

- А чего она?

- Да так. Запер бабу с пацанёнком старшим в подполье, чтоб сильно не воняли.

- То есть, как запер?

- Очень просто. Утром меня воспитывать вздумали. И этот гаденыш тоже вякает, сопли ещё не обсохли. Полезли они потом подпол чистить, а я раз - крышку захлопнул, на замок её, а ещё комод на неё сдвинул тяжёлый такой. И на работу пошёл.

- Черт знает что, средневековье какое-то!

- Ничо, пусть посидели бы, ума набрались. Да там сухо, отдушины открыты, так, моральное только наказание. Эта дура их выпустила, видно, теперь скандалит. Заживо меня сжечь хотела. Помнишь песню "прокати нас, Петруша, на тракторе"? Счастье твоё, что без тёщи живешь.

Вырдиков положил ладонь на область желудка, лицо у него было синюшным. Пришёл Луктиненок, я стал с него спрашивать материал, а он:

- Я не могу писать на заказ, это - пошло.

- А зарплату получать не пошло?

Луктинёнок вдруг завёл речь о Буало. Хотя при чем тут Буало? Николай Стасович курил козью ножку, искры от него летели, как от паровоза. В махре было много инородных включений: в его карманах брюк она перемешалась с хлебными и иными крошками. Пальцы у Луктинёнка были желто-коричневыми.

Подсунул он как-то мне рассказ о лётчике. Отказал мотор, и летун посадил аппарат на малюсенькой таежной полянке. Когда сажал, вспомнил, как вступал в пионеры, потом - в комсомол. Впервые такой самолётный рассказ я прочел ещё в далёком детстве. Сказал Луктинёнку, он обиделся:

- Всё это было со мной. Кто не пережил сам, тому не понять...

Навязался на мою шею лётчик, летун, летальщик, летяга, летюга... Впрочем, последнее уже звучит, как - бандюга...

Луктинёнок вдруг озадачил меня и Вырдикова:

- Кто скажет, сколько лет назад родился Христос? - и самодовольно прищурился. Вырдиков лишь отмахнулся: до головоломок ли тут?

- Я сказал:

- Одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть лет тому назад.

- С чего ты это взял?

- Летосчисление идет со дня рождения Христа.

В глазах Луктинёнка появилось разочарование, даже отчаянье какое-то.

- Что подельываем? - в редакцию вошёл запыхавшийся Зеленецкий.

Круги под глазами ясно говорили, что вчера он опять боролся с алкоголизмом путём уничтожения крепких напитков.

- Николаич, займи пятерку.

Я не успел ответить, дверь открылась, и два милиционера кинулись к Вырдикову с двух сторон. Схватили его за руки, он отчаянно засучил ногами:

- Глебычев, Арнольд, выручайте! Николаич, печатников зови. Ай, гестапо, руку сломали!

Зеленецкий ткнул пальцем клавишу магнитофона:

- Всё записано будет! Имейте в виду.

- Пошёл ты, дед, знаешь куда?! - сказал один из милиционеров, отворяя дверь пинком. - У нас приказ, он жену закопал.

Вырдиков висел на руках у милиционеров, они влекли его всё дальше и дальше. Он запел "Интернационал", редкие прохожие останавливались и глядели вслед процессии.

## 19. СЕАНС ГИПНОЗА

В тот вечер сидел я в своём ответсекретарском кабинете и вычитывал очерк Вырдикова о герое давно отшумевшей страды. Автор как бы вернул нас обратно в осень. В конце очерка говорилось: "Над нами голубое-голубое небо, а под ним идут трактора, из выхлопных труб вырываются голубые дымки и добавляют небесам

голубизны..." Я, было, вычеркнул эти строки, но Вырдиков взъерепенился, побежал к редактору и поднял крик. Редактор сказал мне:

- Надо уважать авторское самолюбие. Не та голубизна? Ну, поправил бы это место поделикатнее, на то ты и ответсек...

Я ломал голову над этими строками. Вдруг в моём кабинете появился Вовка Толк. Как обычно, он придерживал одной рукой другую, тело его было наклонено вперёд, так отливают в бронзе великих полководцев, желая показать их в движении. Шагал человек, стремился к цели, и застыл в бронзе на века.

Вовка исчез из редакции несколько недель назад, но он вёл себя так, словно только что вышел из моего кабинета и, забыв что-то, вновь вернулся в него.

- Глеба-ац! - сказал Вовка. - Глеба-ац! Айда скорее!

- Куда? И где ты был столько времени?

- Глеба-ац! - Вовкины глаза глядели с особой ласковой усмешливостью. - Глеба-ац! Где я был, перед редактором уже отцитался, - от-цци-тался! - поправился он. Вовка нетвердо выговаривал "ч", иногда оно у него получалось, иногда нет.

С Вовкой я познакомился в Томске, мимоходом в Томске. Знакомые рассказывали, как он стал инвалидом. Гнал своёго "Москвича" на пределе. Какой-то "козел" вывернул неправильно, а у "козла" в "Жигуле" - ребятишки. Вовка и отвернул - в столб.

- Вы мой рассказ "Партизанская пушка" цитали? - спросил он меня при знакомстве. Я ответил, что не читал.

- Полистайте подшивку областной молодежи, - сказал он, - в четырёх номерах с продолжением. На доске лучших материалов был. Я сам из партизанского края. Историей занимаюсь. Как-никак в университете - четыре курса прошел...

Я мог и забыть этого Вовку Толка, но он то и дело напоминал о себе своим рассказом "Партизанская пушка". Во всех редакциях имеются подшивки всех районных газет области, просматривая их, я наталкивался на этот рассказ то в одной, то в другой районной газете. Каждая из них сообщала, что автор - "уроженец нашего района, закончил Томский госуниверситет, занимается историей партизанского движения". Потом я обнаружил этот рассказ на страницах журнала "Уральский следопыт", потом - в центральной газете. "Однако, - думалось мне, - из этого Толка выйдет толк...".

И вот почти одновременно со мной автор "Партизанской пушки" поступил в эту редакцию. Он заявил, что будет ответсекретарём. Так как рука у него тряслась и писать он не мог, материалы он не правил, а шёл со статьей к линотипу и говорил линотипистке:

- Я вам тут скажу, в каком месте что поправить надо...

Девушки его жалели и потому не возражали против такого странного метода работы.

Когда пришла верстальщица за макетом, то есть планом газеты, Вовка сказал:

- А макетов не будет. Я вам просто покажу, куда какую статью подверстывать...

Этого верстальщица не смогла пережить. Она побежала к редактору.

Я принял у Вовки дела, а его назначили литературным сотрудником. Но Толк просто физически держать ручку не мог. Я думал, что теперь-то Вовка будет



смущён, но не тут-то было. Он отправился в командировку. А через два дня сдал редактору рассказ... "Партизанская пушка"!

Редактор пришёл ко мне в кабинет, улыбаясь:

- Во! - подал он мне этот рассказ. - Великолепные факты! Оказывается, в нашем районе такие события происходили! А мы-то ушами прохлопали, ничего не знали. Вот что значит сотрудник с историческим образованием!

Я промолчал. Потом вызвал Вовку и тихо сказал, чтобы он забрал свой рассказ обратно.

- Поцему?! - попробовал возмутиться Толк.

- Потому, - сказал я. - В пяти районах было, и везде ты утверждаешь, что именно там и родился, и якобы пушка именно там была...

- Глебац! - вскричал он тогда. - Это ж творческий метод! Понимать надо!

- Надо. Хочешь, я тебе скажу, где была именно эта самая многоликая пушка? Хочешь?!

- Где, где? - задорно воскликнул он.

Я вынул из ящика стола "Историю партизанского края", изданную в издательстве госуниверситета, там у меня уже лежали закладки.

- Вот, смотри, - сказал я, - начиная со страницы тридцатой и до сотой – Всё, слово в слово.

- Глеба-ац! - сказал он уже с меньшим энтузиазмом. - Я же работал. Фактаж одинаковый, верно, но я же привнёс кое-что, творчески переосмыслил. А главное - пушка эта в моих родных местах была действительно.

Вот после этого случая Вовка Толк и исчез из нашей редакции, оставив написанную каракулями загадочную записку: "Еду лечиться, ждите, должность мою не занимайте...". Редактор не знал, что и подумать, а мне мерещились разные ужасы: вот находят в реке Вовкин труп, вот находят его повесившимся в глухом лесу. Виновником его смерти буду, конечно, я - не принял его рассказ "Партизанская пушка"... Не принял! Теперь же Толк стоял передо мной живой, это было главным.

- Ну, пошли же, Глебац, - повторил он, - а то опоздаем!

- Куда?

- Как куда?! Ты что? В самом деле ничего не знаешь? Ну, редакция называется! Закоснели тут, зацерствели! Сам Цертанцев же приехал! Такой случай! Такого больше уже не будет!

- А кто этот Цертанцев?

Толк даже головой замотал:

- Н-ну, Глебац! Ну, темнота! Цертанцев! Это ж... светило! Кандидат меднаук, мой близкий друг, между прочим... это ж луцший в области гипнотизёр, понимаешь?

- А на что нам этот гипнотизёр?

- Сам на бессонницу жалуешься. Цертанцев сеансик проведет - будешь спать, как убитый.

- Ну уж, от одного сеанса...

- Глебац! Ты Цертанцева не знаешь! Пошли... Постой, я счас тут фотокарточки кое-какие подберу... - Толк проковылял к ящику моего стола.

В любом редакционном секретариате можно найти фото, которые своё временно не попали в газету, устарели, но их на всякий случай не выбрасывают. Вовка выбрал изображения нескольких симпатичных девушек и протянул мне:

- Надпиши каждую, одну от имени Веры, другую - от Вали, третью - от Нади, мол, дорогому Вове на память. Старайся, чтобы поцерк на каждой фотке был другой.

- А какое это имеет отношение к гипнозу?

- Имеет. Ты подписывай, да побыстрее - опоздаем.

В Доме культуры меня знали. Я договорился с худруком о двух приставных стульях.

Гипнотизёр появился вместе с заведующим отделом культуры Панкиным, полным, краснолицым мужчиной. По причуде сельского архитектора гримёрная была расположена так, что пройти из неё на сцену можно было только через фойе. Гипнотизёр и Панкин прошли сквозь толпу, и она разделилась, словно разрезанная ножом.

Чертанцев обвёл зал взглядом. Мне показалось, что смотрит он именно на меня: мурашки так и забегали по коже. Глаза его воспалённо блестели, выпуклые, с красными прожилками, они, казалось, излучали магическую силу. Чертанцев заговорил властно, уверенно звучали его слова. Говорил он вроде бы о том, что гипноз имеет простое научное объяснение, что ничего в этом таинственного нет, но у лектора Всё же получалось так, что каждый сидящий в зале понимал: с гипнозом шутки плохи. Однажды где-то - лектор не сказал, где именно, - преступника приговорили к смертной казни, сообщили ему, что умрёт он после того, как ему вскроют вены. Ну, завязали преступнику глаза, чиркнули тупой стороной ножа по локтевому сгибу и стали лить на это место тёпленькую водичку. Капала тёпленькая водица в таз, преступник это слышал, он думал, что это кровь из него вытекает, и помер. При вскрытии выяснилось, что в организме преступника все признаки обескровления, хотя ни одной капли крови из него не вытекло!

А может, вообще не было никакого преступника? Выдумал его Чертанцев, на всякий случай?..

А лектор уже рассказывал о своём и собственной практике. Он поведал о том, как одному студенту на лекции тоже завязали глаза и сказали, что накалят на свечке пятак, а потом приложили к его руке холодный пятак. У студента на коже появился волдырь: ожог второй степени!.. Тут я вспомнил, что уже читал про этот пятак в какой-то книжке, мне стало немного скучно. Чертанцев сказал, что он в своём и группе может мгновенно усыпить любого студента. Я подумал о том, что это великолепно умеют делать другие лекторы, не гипнотизёры.

Лекция кончилась. Гипнотизёр вызвал ассистентку, белокурую пригожую девушку, и приказал ей спать. И она уснула. Стоя!

- Притворяется? - шепнул я Толку.

Вовка отрицательно покачал головой и восторженно зашептал, обжигая мне ухо горячим дыханием:

- Ты цто, Глеба-ац! Натурально спит! Глеба-ац! Он же живёт с ней! Все гипнотизёры так делают, она же потом всё равно ничего не помнит. Он с ней живёт, а потом внушает: забудь, мол, всё! Она и забывает...

Чертанцев положил свою ассистентку затылком на один стул, пятками на другой. Она лежала, вытянувшись, как струна. Люди в зале привстали. Чертанцев поместил руку ей на живот, нажал - ассистентка не шелохнулась. Зал был покорён, ждал новых чудес. И они последовали. Гипнотизёр предложил всем сидящим в зале завести руки за затылки и сцепить пальцы, не разнимать их, пока он не даст команду. А то, мол, плохо будет. Мы сидели с заведёнными за затылки руками. Чертанцев прохаживался по сцене и повторял:

- Попробуйте разнять руки, но, не применяя больших усилий, это вредно. Попробуем... раз, два, три!

Вовка, конечно, руки за затылком не держал, он просто не смог бы этого сделать, а вот я... Я почувствовал, что пальцы мои словно склеились.

- Ну, нет, дудки! - шепнул я себе. - Дудки, дяденька гипноз! - и расцепил-таки пальцы.

Оглянулся по сторонам: в нашем ряду и в других рядах некоторые товарищи пальцев разнять не смогли, и сидели теперь, испуганно глядя на гипнотизёра. Он отобрал человек десять и увёл за собой на сцену. И чего он только с ними там не вытворял! То напускал на них невидимых пчёл, и они в ужасе размахивали руками, то сообщал о наводнении, и они взбирались на стулья.

Вовка толкнул меня в бок:

- Айда ближе к гримёрной, он туда придёт, я вас познакомлю.

Иван Васильевич Панкин подошёл к нам:

- Ну, видали? Сила! Нам бы такого! Придут из управления культуры ремонт клубов проверять, он внушит им, что все клубы в отличном состоянии, и порядок! А?! - Иван Васильевич довольно захохотал.

Я думал, что Чертанцев примет только нас с Вовкой, но в гримёрную набилось полно народа. Был тут и Панкин. Все хотели отучиться от курева. Толк взял Чертанцева за рукав:

- Вот его от бессонницы полечить. Большой журналист, великий сочинитель, нервами муцается.

Чертанцев мельком взглянул на меня:

- Этим страдают все пишущие. Полечим.

- Мне бы и курить бросить, - попросил я.

Чертанцев оглядел набившихся в гримёрную людей:

- Садитесь, товарищи, на те стулья у стены, расслабьтесь, закройте глаза. Вам хочется спать, очень хочется. Тело мягкое, как ватное, вам тепло, удобно, ни о чём не хочется думать, но по телу разливается приятная теплота. Вы сидите в тёплый полдень у маленькой чистой речки на горячем песочке, речка журчит монотонно, убаюкивает, очень хочется спать... Спать! - вдруг резко приказал Чертанцев.

Хотя я добросовестно жмурился, спать ни капельки не хотелось, приятная теплота по телу не разливалась, и никакая речка в моём сознании не желала журчать. Я подглядывал сквозь ресницы, и мне казалось, что сидящие рядом тоже не спят. Гипнотизёр меж тем говорил:

- Табак - страшный яд, он отравляет легкие, сосуды, печень. Все эти органы у вас становятся ядовито-черными! Я врач, я резал трупы, у курящих сосуды, словно дегтем пропитанные, а у некурящих они свежие, розовые...

Я подумал о том, что некурящим трупам всё равно, какие у них сосуды. Наверное, об этом подумал и Панкин, потому что он шевельнулся. Чертанцев возвысил голос:

- Я вижу, что некоторые из вас не спят, внушение отлично реализуется и в бодрствующем состоянии! Вам противно курить, противно! Лучше выпить сто граммов, чем выкурить пачку папирос. Теперь все взяли папиросы и спички, выбросили их в урну! Покончили с вредной привычкой навсегда!

Мы встали, вышли в фойе, и каждый кинул в урну свои папиросы или сигареты. Вернулись в гримёрную. Чертанцев устало прохаживался по комнате:

- Поздравляю, друзья мои, с курением покончено, это событие следует обмыть... Устал чертовски...

- О чём речь, - поспешно закивал Панкин, - сейчас всё будет. Товарищи! Стол - в центр комнаты...

Панкин, закрыл дверь на крючок, задернул на окнах шторы, выставил на стол три поллитры, стал разливать водку по стаканам.

- За науку! - провозгласил тост Иван Васильевич.

Когда Чертанцев брал свой стакан, я заметил, что рука у него сильно тряслась. - Чертовски устаю, - пояснил он, - вы не думайте, сеансы эти мне не так уж легко даются.

- Вениамин Александрович, а могли бы вы кассиру в банке цистую бумажку дать и сделать, чтобы он вам деньги по ней выплатил? - спросил Вовка Толк, влюблённо глядя на гипнотизёра.

- Конечно, мог бы, - ответил гордо Чертанцев. - Это мне - раз плюнуть, но ведь есть такое понятие - совесть.

- Конечно, совесть, - задумчиво сказал Толк, - а то бы... вы бы... и без этих, без сеансов...

Выпивка кончилась. Избавленные от пагубной привычки к табаку, дугарцы стали расходиться. И вдруг я почувствовал, что мне хочется курить так, как ещё никогда в жизни не хотелось. Я выскочил в фойе, сунулся к той урне, в которую недавно бросил свои сигареты.

Возле неё уже стоял, склонившись, Иван Васильевич.

- Что? Тоже? - спросил он. - Я, понимаешь, пачку смял, когда бросал, остались там целые сигаретки. Сейчас... Ага, есть! - он прикурил и стал торопливо затягиваться, пряча сигарету в рукав, как школьник. Я последовал его примеру. Когда мы возвратились в гримёрную, Вовка упрашивал гипнотизёра:

- Что вам стоит, Вениамин Александрович?! Небольшое внушеньице! С нами же какие влиятельные люди пойдут: зав. отделом культуры, ответсекретарь редакции! Да ещё бы вы с гипнозом... дело бы и сделалось!

- Но я же не могу сейчас, - возражал Чертанцев, - я же выпил, у меня не получится.

- Полуцится! - вскричал Толк. - Да ещё как! Они только узнают, что гипнотизёр пришел, сразу попадают! Айдайте, айдайте, одевайтесь все! Ещё там немного встряхнемся: у меня бутылка коньяка в полушубке, они там, конечно, закуски выставят, закуска деревенская, знаете какая! Эх...

Мы вышли в морозную темноту. Я думал, мы идем к кому-то из знакомых Толка продолжать застолье, но это было не так. Возле приземистой старой избы Толк замедлил шаг и заговорщически сказал:

- От вас зависит моё счастье... Глебац и Иван Васильевич, вы вместе с Вениамином Александровичем сватами будете... Солидные все люди, с такими, как вы, отказа не будет...

- Как - сватами?! - остановился я.

- Айда, айда, там разберемся, - ответил Толк, увлекая меня за руку. - Вы, главное, говорите, мол, человек хороший. Знаем, мол, его хорошо, всё, что от вас требуется, а Вениамин Александрович их гипнотизировать в это время будет... Это - верняк!

Вовка просунул руку в дыру, открыл засов калитки, мы прошли в темные сени, в которых были сложены дрова и висели ряды березовых веников. На крыльчке Вовка громко постучал и стал нас подталкивать в спины:

- Идите, идите, вперед, смелей, тоже мне, нацальники, испугались! Мы вошли в маленькую кухню. Наше появление смутило сидевших там, женщина встала, отирая руки о передник:

- Проходите.

Муж её смотрел на нас с некоторым недоумением и испугом, я заметил, что при нашем появлении из кухни в комнату шмыгнула чернявая полная девица. Толк поставил бутылку коньяка в центр стола:

- Доцку вашу пропиваем, мои сваты нацальники: отдел культуры, редакция, кандидат наук. Годится?

Супруги молчали. Толк кивнул Панкину:

- Иван Васильевич, начинай!

- У нас - сабля, у вас - ножны, у нас это... как его... - Иван Васильевич наморщил лоб, в пьесах он играл давно, тексты подзабыл. Попытался ещё что-то выдать:

- На острове Алатырь - доска, на доске - тоска... Забыл дальше! Ей, богу!

Толк нетерпеливо сказал:

- Разливайте коньяк! Прямо говорите, согласны отдать за меня вашу Галю? Вот! Вовка вынул из кармана журнал, - тут мой рассказ напечатан, "Партизанская пушка" называется. Пишу, печатаюсь, университет кончил. Гожусь в зятя?!

Женщина вздохнула:

- Мы - что? Как Галя. Ей сгодится - нам и подавно.

- Так зовите, спросим! - глаза Толка лукаво сияли. Он подмигнул гипнотизёру: дескать, давай, действуй!

Чертанцев вылил в рот коньяк, зажмурился, кивнул: тащите, мол, её сюда, чего там! Девушка вышла из комнаты, с любопытством всех оглядела. Ответила на вопрос матери:

- Этот? Ехала на пароме, он на закидушку рыбу хотел поймать. Болтал что-то. Замуж? С каких щей?

Толк укоризненно поглядел на гипнотизёра. Рассыпал перед Галей на столе редакционные фотографии:

- Ницево девоцки? Ты подписи цитай, поманю - любая побежит. А я паром вспоминаю, стихи социнил...

Он начал читать, я узнал стихотворение алтайского поэта Юдалевича. Там говорилось, как один рыбак влюбился: "Хоть рыбка-то мне не попалась, я сам, безусловно, попался".

- Гулял бы ты дальше ловить рыбку! - Галя улыбнулась нам и опять ушла в комнату.

Я встал: мол, пора и честь знать. Чертанцев торопливо выпил ещё рюмку коньяка. На улице Толк возмущенно сказал:

- Тоже мне, сваты! Как воды в рот набрали! И ты, Вениамин Александрович, хорош, подпустил бы гипноза побольше. Ницего! Она ещё схватится. В институте срезалась, тарелки в столовой моет, а воображает!

Мы с Иваном Васильевичем закурили, уже не таясь от гипнотизёра. Он погрозил нам:

- Лучше выпить сто граммов, чем выкурить папиросу!..

## 21. Криминальный пуп Татьяны

За одной стеной у нас было нечто вроде общежития, жили там учительницы-холостячки, за другой стеной жила Арина, к ней приходили шофёры, знакомые из деревни, и с этой стороны стены несся шум.

Татьяна Чугункова с челкой под мальчика, рыжеватая, сухая, упругая. Музыкантка. Ходит в спортзал. Вырдиков там по застарелой своёй комсомольской привычке играет в волейбол со школьницами и учителями. Раз прибежал взмыленный, отдышался в редакции и говорит:

- А эта, твоя соседка рыжая, ничё по мячу лупит. Но, понял, чё творит? Майка из трусов выбилась, пуп голый, а ей хоть бы чё.

Черт деревенский! К пупу прикопался. Ну, увлекся человек игрой. Вообще - скромная девушка. Попьют девушки чая, гитару мою возьмут, споют чего-нибудь, а то просят меня стихи почитать, за жизнь толкуем. Почему девушки отбрыкиваются от распределения в райцентр? Местные жители - шоферы да трактористы, большинство чуть не с младенчества женаты, по три класса на брата кончили и - лады. А у вузовской барышни мечты не о трактористе. Распределение. Сбежишь, так диплома лишат. А отработаешь свой срок в селе, и в городе уже никому не нужна.

Если выйти из нашей двери, то в коридоре напротив дверь Зеленовских. Арнольдич к вечеру всегда пьяный приходит и тихо переругивается с женой. Дочь его, похожая на черкешенку, Анфиса, забегает то за ситом, то за поварешкой, то за солью-перцем-уксусом. Такое впечатление, словно она только что с луны на землю свалилась и никого, кроме нас, тут ещё не знает. Дарью её визиты нервируют, Дарья на мне потом отыгрывается: мол, все эти бабы ходят сюда потому, что я им улыбаюсь.

- Ладно, - говорю, - теперь на всех зверем буду глядеть.

Иногда говорит:

- Ты не обижайся, мне тяжело. Смешно быть беременной в таком возрасте. Я не разрожусь, я умру, есть предчувствие.

- Ещё как разродишься!

- Чо ты понимаешь? Если даже разрожусь, молока не будет, мастит получится, а ещё бывает рак молочной железы. А ты будешь жить, как жил.

С верхнего этажа к нам горбатая Василиса приходит, то пол помоеет, то подбелит, то в магазин за хлебом сбегает, и Дарья отдаёт ей свои старые платья, а то и деньги суёт. Василиса ругает нашу соседку, которая с шофёрами пьянствует, и в глаза, и за глаза. Они - из одной деревни. А та, как увидит Василису, вытаращит глаза свои желтые:

- Горбушка! Скоро сдохнешь?

Я мало времени дома провожу. Редакция. Дом культуры. Концерт - к празднику.

Дарья называет это клоунадой. Эх, Дарья! Когда между мной и залом возникает невидимая, но прочная связь, это же волшебство! У меня, может, гены. Дедушка-народник Николай Фёдорович играл в театре. Кроме моего отца, у него было ещё шесть сыновей. Дедушка создал семейный оркестр.

А я у отца с матерью был один. Так что я всё делаю соло. Это - труднее. Но и для моей журналистской работы самодеятельность много дает. Я здесь материал для газеты собираю. Артисты все - учителя, медики, агрономы. Про одного очерк напишешь, про другого. Рубрики: "Мир увлечений", "Её парус". Вдова Саллямова русские песни исполняет. Из себя - украинка с иллюстраций шевченковского "Кобзаря". Сказала раз:

- Вы заняли место моего супруга...

Несчастное место, хотелось мне сказать. Косы эти, легкая смуглость лица, голосище сильный. Вдова вот...

После концерта я обычно сразу бежал домой, а из буфета приносил Дарье либо шоколадку, либо сгущенки дефицитной баночку. А раз вернулся с работы, Дарья трясется вся, глазами сверкает, бумагу какую-то мне в нос тычет:

- Вот.

- Что, думаю, за происшествие?

- Успокойся, - говорю, взял бумагу, читаю. Письмо адресовано мне. Чепуха всякая. "Зачем вы губите молодость?" И слова Островского приведены о том, что жизнь нужно прожить так, чтобы не жалеть потом ни о чем. Письмо без подписи.

Кто это писал?

- Саллямиха твоя! Убирайся к ней!

- А может, не она, где ты это взяла?

- Где, где! В письменном ящике. Почерк её я знаю, она у меня недавно анализ брала, она же лаборанткой в больнице. Бумажка у меня сохранилась - почерк тот же...

И взвыла:

- О, ой-еёй-ёй!

Каково пришлось не родившемуся пока младенцу!

По иронии судьбы через неделю заболел у меня живот - умираю и всё. Пошёл к врачу, а врачи - как? К нему идешь, думаешь: ну, сейчас что-нибудь такое сделает, боль пройдет. Не тут-то было! Он тебе сто бумажек на анализы выпишет, неделю будешь по лабораториям ходить. Так и вышло. Пришёл домой с кучей листков в кармане. Дарья листки посмотрела и говорит:

- Пойдёшь наделаешь своё й возлюбленной кучку кое-чего душистого...

Ну и язва! А ведь и в самом деле натерпелся. Принёс Саллямихе анализ, она важная такая, в белом во всём, смотрит, как профессор, говорит:

- Когда кал получен? Утром? Не годится. Вот вам баночка, сходите, получите свежий кал и приносите. Туалет у нас во дворе.

Пошёл я туалет искать, огромный, деревянный, половину досок местные жители на растопку повыламывали. Дыры сплошь, ветер свищет, в туалете этом на полу эвересты и монбланы коричневые высятся. Как тут кал в эту баночку получить, если она размером с рюмку небольшую? Как не упасть? Это же надо эквилибристом быть! И сколько кала получить? Полную баночку или как? Мне как раз не хотелось. Принес кал в лабораторию Саллямихе, спрашиваю:

- Может, мало?

Она посмотрела и сказала:

- Ничего, удовлетворительно. Можете идти, зайдете за анализом завтра.

Я уже было пошёл, а она говорит:

- А здорово вы в прошлом концерте выступили!

Я отвечаю:

- Старался, а теперь приболел вот...

- Ничего, мы вас на ноги поставим...

Когда я собрал анализы и можно было идти к врачу, живот у меня болеть перестал, как и не было ничего. Пошёл на работу. В кабинете было холодно. Прижал трубку плечом к уху, положил на стол чистый лист бумаги. Трубка квакала, перо скрипело, я думал о наследнике. Уж ему-то я объясню, как избежать всех утрат, напастей и болезней, которые сделали меня таким, каков я теперь есть. Он сделает всё, что я не сумел, и в свою очередь родит похожих на меня, так я пойду в бесконечность, совершенствуясь, хорошея, удивляя всех красотой и талантами, далеко пойду, прямо к звездам.

Дарья в последнее время стала потрясающе брюхатой, теперь она даже не ругалась, на лице её читалась мировая скорбь. Не находя на кухне ни завтрака, ни обеда, ни ужина, я молчал, Дарья тоже молчала. Вот и вечер, домой пора идти, в голову словно песка кто насыпал - тяжёлая. Вошёл в свой подъезд, на моей двери большая бумажка приколотая: "Пастучи ко мне". По стилю видно, что писала соседка, любительница шоферов. В нашей спальне всегда слышно, как она по ночам возится с ними. Глаза у неё как бы плёнкой прикрытые, язык - помело, так что за стенкой у нас - колония в миниатюре или малина в натуральном виде.

"Пастучал" к ней.

- Бабу родить увезли, а этот хрен собачий где-то шляется! Держи ключ, я дверь на свой замок заперла.

Взял ключ. Вот Дарья! Нашла сторожа! Хотя тут обо всём позабудешь. Всё же успел заглянуть в шкаф. Конечно! Шампанского, которое заранее купил к Новому году, нет, дефицитную колбасу и рыбные консервы как корова языком слизнула. Много чего, наверное, ещё недосчитаемся. Доверила. У нас же свой замок есть. Взбежал на лестничную площадку к телефону:

- Алё! Роддом? Мальчик?.. В какой палате? Только завтра? А почему?

Назавтра пошёл в роддом как раз мимо того туалета, в котором я для Саллямихи кал получал. Больничный городок, кедрач, а в нем беленные известкой и облупающиеся бараки. Картонные вывески: "Инфекционная", "Хирургическая"...



Еле нашёл родильное отделение, совсем уж на краю оврага, зато вид великолепный. Барак старый, окна возле самой земли. Стучу, кричу, дверь-то заперта. Вдруг Дарья возникла в одном окошке, подняла сверточек, а в нем не поймешь что, окошко грязное, обледенелое, что там разглядишь? И не слышно ничего, поговорить нельзя.

Вернулся в редакцию, всех оповестил - сын! Как выглядит? Весь в меня, брюнет, высокий, стройный.

Подошла пора Дарью из роддома забирать. Выпросил у Варсалаева машину. Дарья уселась с пакетиком на заднем сиденье, спрашиваю:

- Как сына назовем?

Она отвечает:

- Инной...

Вот те раз, думаю, вот тебе и сын. Выяснилось, что нянечка, которая мне отвечала, перепутала немножко. Но против этого мещанского имени я выступил решительно, назвали дочку Анной.

Новая жизнь. Купил для Анны кроватку, собрал, а Дарья говорит, что ячейки слишком крупные. На заводе разве не подумали о размере ячеек? Инженеры всё просчитали. А Дарья заплакала:

- Изверг! Тебе ребёнка не жалко. У одной учительницы девочка в такой вот ячее шейкой запуталась.

Я примерил головку Анны: не входит в ячею. А Дарья опять своё:

- Прутик, на котором ячея крепится, выскочит из паза, Анна головкой упадет...

Заботы. Печь натопи, еду приготовь, воды нагрей, ночью Анна орёт, а Дарья алялякает. Дарье всё кажется, что Анна помирает. Прыщик соскочит - вызывай "скорую". Доктор придёт, посмотрит, послушает и скажет:

- Ребенок кричит - это нормально, у них голосовые связки и легкие развиваются.

Чугункова придёт, Анну в руках подбросит, а после её ухода, мне выговор:

- Мог бы вмешаться, отец всё же, убьют дочку, кобылы.

Возражаю стихами:

"Газеты надобно читать: орлята учатся летать!"

Сами не заметили, как подошло время Анне ходить. Самый забавный возраст. Соседки-учительки по вечерам Аньку азбуке учат, сказки рассказывают.

Однажды Чугункова спросила:

- У вашего Варсалаева с головой всё в порядке? Не перегрелся на работе?

- А что?

- Привёл своих девчонок учить на фортепиано. А слуха нет. Говорю ему: пусть занимаются гимнастикой или рисуют. А он там раскричался, дескать, ты знаешь, кто я такой? А что я сделаю? Слух даётся богом, а не педагогом. Думала, отступился, а он через день домой пришёл и свёрток мне какой-то сунул. А в свёртке-то свитер был! И расцветка не моя, и свитер - дерьмо старое. Отнесла я ему обратно, так он мне пригрозил, а я его послала в одно секретное место...

Пришёл в редакцию Варсалаев говорит:

- Молодые специалисты у нас аморально себя ведут. Черкани-ка фельетон про Татьяну Чугункову, я кое-какие фактики подобрал, - и подает мне листочек.

Я отказался писать наотрез.

- Как хочешь, - спокойно сказал Варсалаев.

А через некоторое время Вырдиков положил на мой стол фельетон, в котором рассказывалось о растленной учительнице музыки Чугунковой. Говорилось там об ответственности момента, о дурном влиянии на советскую молодежь, растлевающим духе. И изображалась картинка: Наталья Чугункова играет среди учеников в волейбол с обнаженным пупом.

- Доколе будем терпеть! - восклицал в своёй душещипательной статье фельетонист Вырдиков.

Я ему материал вернул. Он побежал жаловаться Варсалаеву.

Как там всё было - не знаю, но номер вышел всё-таки со статьей Вырдикова. Теперь уж я побежал в редакторский кабинет с этой газетой в руках, красный от возмущения. Вырдиков о растленности пишет? А сам он кто?!

Варсалаев хмыкнул:

- Ты-то чего кипятышься? Неравнодушен к этой рыжей?..

Мрак! Радует лишь то, что Анна подрастает. Скоро можно будет в ясли вести. Мы с Дарьей уже устали нянчиться с ней, хоть и соседки помогают.

Однажды отвёл дочку к соседям, побежал билеты в кино взял. Картина "Фараон" шла. Там крокодилы бегают в картине этой и фараоншу голую показывают. Позвонил Дарье в школу - к семи будь при параде. Вечером прибежал из редакции. Дарья сидит на диване в халате. Не собирается никуда идти.

Плачет, краска с ресниц сползла. Поясняю: фильм редкостный, цензоры из ленты самые хорошие места вырезали, но много чего и осталось. Фараон, говорю, обнаженный там ходит, неужто тебе неинтересно? Экзотика! Смотрю, Дарья слезы вытирает, перед зеркалом манипулирует пудрами и прочими штуками своими. Бег. Запыхались. Сеанс уж начался, дверь закрыта. Стучу. Редакция! Магическое слово. В темноте нашли места, а в это время на экране крокодил какого-то тощего египетского мужика слопал... Аж мне нехорошо стало. А Дарья смотрит себе, вроде, даже улыбается...

На другой день я узнал, что Вырдикова за преждевременное погребение жены с сыном райком приказал уволить из редакции. Вырдиков стал вахтёром на строительстве больницы. Будочка у него как раз на выезде из Дугарки. И вот поехали мы с Кузьмой и редактором в командировку в деревню. Кузьма увидел Вырдикова, спросил:

- У тебя стакан найдется? А то бутылку взяли, а стакан не захватили.

Он дал стакан, мы выпили, поехали дальше, а Вырдиков стал в райком звонить:

- Куда смотрите? В редакции вашей алкаши работают. Они только что у меня в будке поллитровку приговорили. Стакан я в бумагу завернул, не отвертятся, на нем отпечатки губ остались!..

Вот эти "отпечатки губ" меня, как говорят, добились. Бедные райцентры! Здесь каждый райкомовский Ваня чувствует себя несчастным декабристом и поглядывает в сторону города. Поговорил с Дарьей о переезде в Томск. Отказывается наотрез. По углам там с ребенком мотаться?..

Бывает так, что трудно решиться, а решаться надо. Не спал несколько ночей. За неделю похудел килограммов на двадцать.

Анютка только-только начала ходить в ясли. В прощальный день я отвёл её туда. Она сказала:

- Только ты сам забери меня сегодня, ладно?

- Ладно! - сказал я. Тополя горестно скрипнули, словно понимая обман.

## 22. ГЕРЦЕНАЯ БАНЯ

Приехав в Томск, я решил заночевать у двоюродного брата Коляши. Другим родственникам я уже надоел, а у него, многодетного, сто лет не был. Не ведаю, как живёт-может. Вот и проведу братца.

"Герценовая баня", в которой брат служил кочегаром, стояла в ложбине возле быстрой реки Игуменки, по которой плавали утки, разводимые аборигенами, в том числе и моим двоюродным братцем.

Коляша к должности кочегара никак себя не готовил. В канун войны он неплохо учился в школе, в начале войны устроился учеником в живописную мастерскую, обнаружил там удивительные способности, но вскоре его мобилизовали для работы на военном заводе. Что он там делал - тайна, знаю только, что он отравился там кислотой. С завода его отпустили, художником он уже стать не мог, вот и подался в эту баню, в кочегары.

Женился он на немке, Виктории Адамовне, девушка это была красивая, черноглазая, добрая и удивительно трудолюбивая. Она была в бане и уборщицей, и сторожем, и банщицей, и ещё бог знает кем. Поволжская немка, она, может, вышла за русского ещё и потому, что хотела преодолеть стену отверженности, которую создали власти вокруг высланных. Работала она с остервенением. Коляша от жены не отставал. Он был не только кочегаром и сантехником, но и ремонтировал мебель, и банный инвентарь, электропроводку, клепал, паял, лудил, сверлил, фуговал.

Директор бани, женщина типа комиссара времен гражданской войны, только что не носившая кожанку, Коляшу ценила. Летом, при реконструкции бани, Коляша решил расслабиться после адских трудов. Побежал он с ведром на "Фрунзу", ближайший базар, дабы обратить половую краску в какой-либо крепкий напиток. Но на банный двор вернулся в сопровождении милиционера, облив этой краской свои сапоги и брюки.

Директорша увидела это в окно, вышла поругать Коляшу - мол, она дала ему эту краску в виде премии за хорошую работу, а он, вместо того, чтобы жене отнести...

Милиционера пригласили заходить мыться в номер-люкс, обещали бесплатно лучшие веники...

Коляша, женившись, на задах бани из отходов выстроил временку в одну комнату. Почти каждый год летом Коляша, что-нибудь к временке пристраивал, то сени, то крыльцо. Потом пристроил ещё одну комнату, потом - ещё. Вика рожала детей, и временка как бы тоже плодилась.

Явился я поздно, но Вика усадила меня за стол. Потом постелила мне на кровати, а себе и Коляше на полу. Со всех других кроватей, лежанок и с постелей, лежавших прямо на полу, на меня смотрели Коляшины "короеды".

Вика вставала раньше всех. И когда я проснулся, она уже не только успела поработать в бане, но и приготовила завтрак, и на стол накрыла.

Я позавтракал в непривычной для меня большой компании. У Коляши был выходной, но пришла директриса и сказала, что Коляшин сменщик напился. Коляша стал собираться в кочегарку.

Благодарный Вике за вкусный завтрак, я отправился хлопотать о трудоустройстве. Домой постарался прийти попозже, понимал, что у Вики с Николаем дел по горло. Вернувшись, заглянул в кочегарку. Коляша обрадовался:

- Посиди. Эта волына: сейчас угля в люк накидаю...

Волыной он называл любое муторное дело, либо незнакомую вещь. Управился он с углем, полез за котёл, где висели ряды берёзовых веников. Смотрю, поллитровку несёт. Поставил её на застеленный газетой стол, порезал сало, лук, хлеб. Стаканы посмотрел на свет: чистейшие!

- Садись, братан, сейчас, только задвижку закрою...

- Вику боишься?

- Да нет, скоро клиенты пойдут. Какие? Пишешь, а не знаешь. У кочегара бывает клиентура. Так, народец, выпить надо, а негде. А тут - стол, лавочка, стаканы и милиция не потревожит. Ну, идут. Меня угощают, а то оставят в бутылке мою долю, если мне некогда или неохота. Верить, нет, даже один профессор ходит.

В кочегарке было уютно, глухо, пахло берёзовыми вениками, умиротворяюще тикали ходики. Кран, раковина, зеркало, все удобства. Сало просто таяло во рту, так только Вика и умеет солить во всём этом несчастном Томске.

- Погоди, - сказал я, - мы балдеем, анекдоты травим, а котёл топится. Он может перекалиться и взорваться?

- Коляша поглядел самодовольно:

- Может, если салага его топить будет. А мне и на манометр смотреть не нужно, я его нутром чую: когда клюкой ткнуть, когда угля подбросить, когда вентилятор включить. Видишь палец? Рубец? Вентилятором, лопастью. Рубануло. На ниточке висел. Скорая приехала: укол будем делать от столбняка. А я этих уколов до смерти боюсь. Идите, говорю, к такой маме. Обиделись, уехали. Я его бинтом замотал и - всё. Сам обратно прирос. Только немножко криво. Видишь?

В дверь затарабанили. Коляша спрятал стаканы и бутылку в тумбочку, схватил клюку и стал у топки:

- Отопри!

Оказалось, пришла Вика. Принесла кастрюлю, в которой дымились горячие котлеты и картошка. Вика насмешливо сказала Коляше:

- Маскируешься? Я - чо? Дурнее паровоза? Сколько лет живёт, и всё за дуру держит.

- Ни в одном глазу! - сказал Коляша. - Хочешь по одной досточке пройду, а на другую не наступлю?

Вопрос был риторический, ибо пол в кочегарке был не из досок, цемент сплошь. Вика позвала меня ужинать. Я хотел идти, но Коляша не пустил:

- Погоди, не договорили ещё, в кои-то веки с брательником потолковать.

Вика ушла. Коляша спросил:

- А про зрителей знаешь? Тоже не знаешь? Ага! Думаешь, зрители - только в театре. А ты повнимательнее будь, если писать берёшься. Ты замечал, что в каждой бане окна женского отделения обращены внутрь двора. А почему? Ага! Не знаешь. Окна до половины закрашены извёсткой или краской, так зрители эти, что делают?

Приносят табурет или стремянку, влезут повыше и заглядывают, а то ещё иной и голову в форточку засунет.

Увидишь такого, лопатой по спине перетянешь - докладывай, мол, кто и откуда... Один преподавателем оказался. На коленях умолял, чтобы в институт не сообщали, я, говорит, иначе удовлетворяться не могу. Не может он! А почему я - могу? Деньги обещал большие заплатить. Не нужны, говорю, мне твои деньги... Простил я его. Так он после полгода коньяком поил, аж пить надоело...

В дверь постучали. Коляша впустил двух небритых типов. Они о чем-то пошептались с моим двоюродным, подозрительно поглядывая на меня.

- Дергайте по-быстрому, - сказал им Коляша, - пейте, не засиживайтесь.

Типы присели к столу. Выпили. Один после водки как бы расправился, осмелел, уставился на меня липкими глазами:

- Ты - начальник? Начальник, в рот тебя...

Коляша ухватил его железной рукой за запястье:

- Говорил - не возникать?

Тот замахнулся грязным, мокрым кулаком. Брат боднул небритого в подбородок, развернул и дал ему пинка в самое неудобное место, причём удар был просто снайперским.

Небритый быстро засеменил к двери, уже открыв её, обернулся:

- Понял! Он - оттуда.

- Понял и сваливай! - сказал Коляша, обернулся ко второму типу и добавил:

- Ты тоже - вали!

После ухода клиентов, Коляша сказал:

- Замаешься с ними. Общественное место, разный народ. Тут один повадился в общую моечную ходить. Приглядится, кто там в хорошей одежке в раздевалку зашел, а в моечной или в парной ненароком у него тазик подменит. По его тазу хорошую одежду получит, а тому, когда помоеется, банщик какую-нибудь рвань выдает. Скандал!

Ладно. Приходят агенты. В штатском, конечно. Раздеваются и шасть за этим типом в моечную, и следят. Только он тазик подменил, они его за руки - хватать! А он мыльный, скользкий, вырвался и - тягу на улицу. Агенты, как были, голые - за ним. Одеваться-то некогда. Народ балдеет: три мужика голых в гору бегут и орут: чудо!

Да что говорить, пожил бы тут подольше, много чего для себя взял бы... Жизнь, она везде бьёт ключом, и всё - по голове.

Из города уезжать больше не хотелось. От знакомых узнал, что городскую районку возглавил Саня Тройкин. Побежал туда. Саня и в редакторском кресле остался прежним нахалом и грубияном. Только раздобревшим и как бы распухшим.

- Запом будешь? - сказал он. - Женщин тошнит, голова у них кружится, и вообще всякие фигли-мигли. Надо организаторский талант иметь!..

Я подумал: пусть - хвастун, грубиян, но обещает же мне жильё выбить? И через две недели Александр Автономович гордо сказал:

- Третьяк не люблю! Есть жильё. Иди, смотри, с редакцией рядом, небольшой, правда, но отдельно. Наш собес дом купил, а во дворе там ещё маленький домик, он им не нужен, вот там будешь жить.

Стал меня Тройкин заселять, сторож собеса не пускает:

- Домик?.. Есть курятник, сарай. Куда ж? В курятник?! Начальника?

Перепалка. Как я понял, хитрован этот фронтовик, дом записал на родню, себе получил квартиру, затем дом загнали. Иван Егорович при этом сумел остаться в своей усадьбе: стал тут сторожем, огород садит, домик, летняя кухня, в дровянике - дрова, инвентарь.

На другой день пришёл я с начальником собеса. Иван Егорович из кожи лез:

- Как можно? Замёрзнет там человек. Через дорогу - бандиты живут. Я - за двумя засовами, в доме со ставнями, с ружьём и то всю ночь дрожу, а тут, в избушке на задворках, одному... Окно вышибут и...

Начальник возвысил голос. Егорович сказал:

- Ну, раз - приказ... Только пусть дрова привезёт, а то мои жечь будет...

Ещё через день ушёл я пораньше с работы и - на Карандашку. Карандаши из кедров строгают. То-то отходы гореть будут! Один мужик посоветовал:

- Дуй через дыру в заборе к бункеру. Увидишь самосвал под загрузкой, и - к шоферу. Напрямую, быстро, без бюрократизма!

Уже темнело, когда мы подкатили к собесовской усадьбе. А к дому не подъехать - кювет, да и ворота наглухо забиты. Свалили дрова прямо в кювет. Я нашёл в сарае старую ванну, таскал в ней чурочку. Промёрзшая чурочка, скользит. Морозец, луна, и в одном из окон собеса ставня приоткрыта, и нос Егорыча о стекло плющится. Помогать, небось, не вышел...

Перетаскал мало, спать было пора. Утром пошёл на работу, оглянулся на гору чурочек - вечером пораньше приду, больше перетаскаю. Пораньше вернуться с работы не удалось: в деревню ездил жалобу разбирать. Иду, снег скрипит, возле ограды собеса тени мечутся. О! Мою чурку замечательную гребут! Я-то думал, за сколько времени она у меня высохнет? Уже наполовину усохла.

Один в мешке тащит, двое на носилках. Верно Егорович говорил - бандиты! Дома за дорогой до войны принадлежали канатчикам, потом были в них общаги студенческие, в которых доводилось мне бывать: коридорная система, обветшалость уже и тогда была заметна. Нынче в новые, кирпичные дома добрых людей селят, а тут - голота собирается, один из четырёх домов чуть не сожгли. Третий этаж весь обуглен и пустой, а в нижних двух этажах - живут.

Какая-то женщина прямо при мне нагребла полный короб моих чурок, короб стоял на санях, она уж собиралась его везти, как я перевернул его и высыпал свои чурки обратно:

- Не вами положено, не вами возьмётся.

Она вдруг схватилась за живот, истошно завопила пьяным голосом на всю улицу:

- Ой! Я беременная! Он меня в живот пнул! Ой! Ребёнка убил!

Ко мне подскочили трое верзил, руки в наколках, лица, как у Квазимодо, этакие перегародышащие драконы. Вот уж один за ворот меня ухватил. Как быть? Я закричал:

- Я сотрудник редакции! Тронете - будет политическое дело!

- Бабу беременную в живот пнул - это какое дело?

- Я её пальцем не тронул! Она моей чурки короб нагрузила, я её обратно высыпал, вот и всё.

- Какая твоя чурка? Чо ты... дишь? Здесь самосвал ночью перевернулся!..

Обошлось без мордобития. Но нервы... Начальник? И живёт в конуре собачьей? ...дишь!.. Выясняли - знаю ли я какого-то завхоза из райисполкома. Отбрехался. И всё равно к утру чурка моя вся испарилась. Чуть возле избушки осталось. Но и то небольшое однажды ночью улетучилось.

А морозы заворачивали крепче. Я пошёл в кочегарку к двоюродному брату Коляше, принес от него ведро угля. Да, можно уголек потаскивать, Коляша собрал старые скамейки, порубил, бери на растопку. Избушка тепло почти не держала. С вечера протопишь - "буржуйка" аж пунцовая. Утром я на своём топчане под одеялом и дрожал, как в лихорадке, а спал я, не снимая верхней одежды. И кто-то ночами возле избушки ходил.

И я, от горести и тоски своей, решил обратиться к двоюродному братцу Веняше. Коляша уже сделал для меня, что мог, а Вена, возможно, поможет оштукатурить избу, да ружьё своё на время даст, чтобы мне не так жутко ночевать было.

Веняша сказал, когда я явился к нему домой со своей просьбой:

- Айда, посмотрим, что у тебя там!

Пришли в мою избу, посмотрел он и говорит:

- Нет, штукатурить сейчас нельзя, летом надо. Ружьё? Нельзя, на меня записано, убьешь кого, а я - отвечай?

Я подливал ему вино из бутылки. Показал ему стартовый пистолет, который мне тёзка в городке на память подарил. Я из него в спектаклях самодеятельных стрелял.

- Вот, - говорю, - пугач есть, а что с него толку?

Веняша курил, пил, но ружьё мне доверить отказывался. В конце концов он сказал:

- Боровка зарезу, мяса дам! - и ушёл в свой тёплый дом, к тётке Клариссе и к жене Ларисе, про которую он мне все уши прожужжал. Агроном, с высшим образованием...

Новая ночь. Опять кто-то у меня за стеной ходит! Егорович со своим ружьем не выйдет на улицу, хоть заорись. Ищу стартовик. Где же он? Лежал же на тумбочке! Может, куда-то ещё положил? Мебели у меня нет, вещей нет. Всё обшарил. Нет пистолета. Ах ты чёрт! Веняша! Вот нашёл я себе помощника! Помог! Из чашки ложкой!

Следующий вечер. Я в кочегарке у Коляши. Пахнет вениками, ржавчиной, углем. Разговор. Веняша. Стартовик исчез. Не слышал ли чего? Коляша выпил принесённого мной портвейна. С ответом не спешил. Свернул самокрутку, подумал, сказал наконец:

- До сих пор в ушах свербит... Палил он тут вчера. Значит, твоя штука?..

Мы пошли домой к Веняше. Колян постучал: отвори, мол! На окне колыхалась занавеска, но свет в кухне вдруг погас. Потом голос Веняши из-за двери сказал:

- Мы уже отдыхаем...

- Открой, твою мать... - хрипло сказал Коляша. - Ты меня знаешь, ведь и двери с крючка сорву, тогда уж держись...

Веняша приоткрыл дверь, не включая на кухне свет, не снимая дверной цепочки:

- Чего надо?

- Ты дурочку не гони! - сказал Коляша. - Сам знаешь чего надо, я тебе сейчас морду-попу сделаю... - просунув руку, Коляша сдёрнул цепочку.

- А ну включи свет! Ага, вот выключатель.

В кухне вспыхнул свет. Веняша дико взвизгнул:

- Только заматерись при моей жене с высшим образованием! Только заматерись... - он открыл ящик кухонного стола, выхватил оттуда ножи. В одной руке он держал два ножа, в другой один, и махал ими, стучал, как кастаньетами. Коляша изловчился и дал ему тяжёлую затрещину. Оскалился:

- Положь железячки, а то... Ты меня знаешь...

Из комнаты раздался голос жены с высшим образованием, полный гневного презрения к нарушившим покой сей обители:

- Чего ты взял у них? Отдай, и пусть немедленно уходят...

Веняша вынул из-под тумбочки мой стартовик и, скорбно наморщив лоб - мол, уступаю насилию - подал его Коляше.

Коляша сказал:

- Тебе пить вредно.

- А Ленин пил? Вот пусть он скажет, - кивнул в мою сторону. - Ленин пил?

Я вступился за Ленина, Веняша со мной спорить не стал:

- Хорошо, пусть Ленин не пил, а Будённый?! А Лермонтов с Пушкиным? Я сам какое-то стихотворение читал: наполним стаканы и чокнемся разом! Скажи, разве нет такого стихотворения? Ага! Умные люди, а пили.

- Идём, - сказал Коляша, - а то я не вытерплю и вмажу ему как следует.

- Я боровка заколю и вам обоим мяса дам! - крикнул нам вслед Веняша.

Саня Тройкин переложил заботы о газете на меня. Являлся он на работу к обеду, похмельный, смурной, звонил в райисполком агроному Хорунжему, мне говорил:

- Мы с ним в совхозы двинем, надои проверять.

Я уже знал, что поедут они в Коларово, где на взгорье - ведомственный дом отдыха "Синий утес". Там всегда пиво в магазинчике - разные вина. Отдыхают. Гуляют. А я вот - горб гну. Верблюд что ли? Одна радость - еще сотенку на сберкнижечку положил. Третья часть будущего домика в каком-то кедровом лесу, у какого-то озера. У какого именно озера и где - пока неизвестно. На книжке - и двадцать пятая часть моей собственной автомашины, неизвестной пока что марки. На книжечке, на книжечке! Передовиков в колхозах снимаю для доски Почета, ночами фото печатаю. Выступаю на радио и телевидении, пишу стихи и юморески, для репертуарных сборников, издаваемых управлением культуры. Устаю до чертиков, нет мне ни выходных, ни отпуска: еще копейчку, еще!..

## 23. ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВЗВОЗ

Однажды встретил в городе Вырдикова. Выглядел благополучно, порозовел, шарфик шерстяной, пальтецо, шапка не кроличья, но приличной новизны.

- Якорин бабай! - хлестнул он себя по коленке. Ты замом стал в томской районке! Молодец, растёшь! Но я бы с ним работать не стал, с алкашом позорным. Пьёт ведь?



- Пьёт! - кивнул я. - Но не в этом беда. Жить мне негде. Я поведал Грише о своём житье-бытье. Он опять хлестнул ладошкой по колену:

- В девятку попал! Ты, думаешь, с кем разговариваешь? Ага! Не догадаешься. Заместитель начальника горжилуправления! Номенклатура, тут ловить нечего!

- И ты можешь?..

- Якорин бабай! Он ещё спрашивает! Но сперва надо посидеть в ресторане. Сам знаешь, такие дела через ресторан делаются.

Через двадцать минут мы уже сидели за холодильником в углу, где располагался столик для особых посетителей ресторана "Сибирь".

- Двойной ромштекс, - говорил Вырдиков, - якорин бабай! Выпили мы изрядно. Вырдиков, икая, дыша духами и туманами, сказал:

- Результат - за этим столом через три дня...

Через три дня Вырдиков он опять пил на мои деньги с большим удовольствием. Подмигивал:

- Ты не гляди, как Ленин на мировую буржуазию, это ж квартира в городе, не баран начхал...

Был назначен ещё день, когда будет результат, потом - ещё. Это мне надоело, и я сказал Грише, что больше мне его поить не на что.

- Ладно! Приходи завтра в домоуправление на Обрубке, нос пузырем. Чего - вымогаю? Ничего не вымогаю. Заселять тебя надо? Домоуправ будет, а у него стимул должен быть или нет?!

Так я попал в дом по улице Воскресенский взвоз,1. Четырехэтажный кирпичный дом. Неоготика со стрельчатыми окошками, со шпильями, кирпич лишь потемнел, но - ни щербинки. Воскресенский взвоз раньше назывался раскатом, телеги сильно раскатывались. А Кузнечный взвоз назывался развалом, он такой крутой, длинный, что телеги ломались, возы разваливались. И на раскате, и на развале было много кузниц. Сломалась телега, тут же и починим.

Не раз в детстве видел, как возницы здесь вот нахлестывали лошадей. До середины взвоза телегу с поклажей дотянут, а дальше уже сил у коняги не хватает. Телега сползает назад, возчик бросает кнут, лупит лошадку по хребтине палкой. А были в городе лошади-битюги. Его и хлестать не требовалось, битюга. Возчик скажет ему на ухо: "Н-но!", губами причмокнет, битюг рванет воз с места и пойдет, быстрее, быстрее, упрямо наклонив голову. Глядишь, воз уже на горе. Битюги - силачи лошадиного племени.

Да, среди красоты поселил меня Гришка. В гору ведет лестница, с широченными ступенями и со многими площадками для отдыха. Садись на скамью, любуйся, открывающимся видом. На бордюре - огромные фигурные вазы: витые чаши. Откосы засажены шиповником и обложены дерном. Весной здесь Всё бывает в цвету. Я помню, как пылали бутоны шиповника, как манили взоры голубые и сиреневые цветы в чашах, как гудели над ними пчелы и поблескивала умытая дождем мостовая. Поднимаешься по лестнице, и с каждой лестничной площадки и город внизу, и церковь, вознесенная над ним, смотрятся по-иному.

Парадный подъезд в мой готический дом наглухо забит. Мне на четвертый этаж приходится подниматься по высокой, почти вертикальной лестнице. Дом примыкает задней стеной к горе. Поднимаясь, видишь в окошки лишь откос горы, покрытый снегом. А выше - старинные домишки, построенные на самом краю горы.

Видно, что жители их льют под откос помои, валят мусор и Всё это скатывается вниз, к стене моего дома. Оттаает весной, то-то будет аромат!

Я достигаю своего четвертого этажа с сильным биением сердца. Длинный коридор, с одной стороны - ряд дверей, с другой - ряд окон. Грязные стекла разбиты, торчат лишь клинья осколков; а в двух рамах даже и осколков нет. Жильцы через пустые рамы выливают помои, и подоконники украшены застывшими бурыми сталактитами, в коридор залетает снег.

Крепость эта числится домом из ремонтного фонда. Скажем, ремонтируете квартиру и заселяетесь на время сюда. Это - теория. Практически здесь зимой и летом живут невесты как попавшие сюда люди. Моя комнатка была фанерной выгородкой. Большую комнату разделили несколькими легкими переборками, выглядит жильё пенальчиком.

С чего начать? Потер газетой грязное, застывшее окно. Напрасный труд, надо десять ведер воды, желательна теплой, и много мыла. Плита требует ремонта, нет ни дров, ни воды. В коридоре ни души. Возле некоторых дверей загончики понаделаны. Курятники?

Ночь. Только я стал засыпать, а это так трудно сделать на новом месте, только накатила волна забытья, что-то за переборкой стало постукивать, потом громче, быстрее, словно поезд набирал скорость. Разговор какой-то компании, звон посуды и опять эти спиритические поезда отправлялись. За переборкой справа всё было более отчетливо, там ритмично заработала, заскрипела, затарахтела кровать, ритм ускорялся, затем раздались женские стоны и мужской жеребьячий крик. И это повторилось много раз.

О, черт! Как заглушить все эти звуки? Я дрожал от холода в пенальной комнатке, брезент раскладушки - это вам не перина. И шум, как назло! Пришлось встать и включить электровентилятор. Странно, конечно, вентилировать и без того холодное помещение, но что делать? Вентилятор своим жужжанием приглушал посторонние звуки, умиротворял.

Утром я встретил в коридоре глазастенького соседа, очень похожего на узника Освенцима с плаката, такими изображают их художники. Но этот узник был одет не в полосатую тюремную одежду, его приличное пальтецо весьма гармонировало с вдохновенным хохолком надо лбом. В руке у него был портфельчик, но шапку он не надел.

- Здравствуйте! - приветливо кивнул он мне. - Новый сосед? Заходите на чашечку кофе, меня зовут Димой...

Он пронёсся по коридору к выходу, бухнула дверь, исчез. Из комнаты справа вышел... Карл Маркс, только моложе, чем на известном портрете. И он был - в пальто и без шапки. Шел, запрокинув кучерявую голову. Может, поэт? Неужто это он орал в тот момент, когда мнилось: кровать за стеной развалится или провалится сквозь этаж, а переборка, отделявшая мою комнату, вибрировала как мембрана. За ночь это повторилось восемь раз. Многовато даже для Маркса.

Когда я собрался на работу, внизу за окном послышались какие-то голоса, гудение автомобилей. Спустился по крутой обледенелой лестнице к выходу из дома. Открыл дверь. Возле дверей, ведущих в подвал, стояли две милицейские автомашины, "скорая". Санитары несли на носилках что-то прикрытое брезентом. Когда носилки заталкивали в кузов "скорой", из-под брезента высунулась и повисла

беспомощно грязная, в синих наколках рука. Потом вывели из подвала парня, лицо которого было разбито, будто его кувалдой по этому лицу навернули.

После работы я направился в кочегарку к Коляше, взял у него ведро уголька и вязанку остатков сухой окрашенной скамьи. На раз истопить хватит. Пыхтя, поднимался я по крутой лестнице на четвертый этаж. Меня догнал Дима, взял ведро. Волосы его заиндевели.

- Простынете без шапки, - заметил я.

- Ерунда! - сказал Дима. - Всё дело в привычке, привыкать постепенно, то можно привыкнуть и на раскаленной плите сидеть.

Он поднимался, перепрыгивая через две ступеньки. Я отстал. Дима подождал меня, сказал:

- Лестница лечит!

Мы зашли в мой пенал. Поставив ведро возле печки, Дима подошёл к окошку, взял тряпку и начал его протирать.

- Я сам потом всё сделаю.

- Комфорт, - сказал Дима, - мобильность и моторность.

Он вышел, а через пару минут вернулся с двумя ведрами, в одном была известь, в другом - вода.

- Все удобства в соседних домах и на улице. По воду ходим аж за два квартала! - весело сообщил Дима. - Ничего! Зиму прожить, а летом тут - курорт!

Работал он шустро, принес козлы, на них водрузил стол, потолок почти три метра от пола.

- Где топливо хранить? - сказал в ответ на моё недоумение старожил. - Всё просто. Вы покупаете кубометра два дров. Мы их затаскиваем в комнату, в коридоре хранить нельзя - пожарники съедят. Вот. В комнате вдоль стен выкладываем поленницы. Вы топите печь, день за днём расширяя своё жизненное пространство. К весне - простор! А ведь ничто так не укрепляет нервную систему, как перемена интерьера. Вы согласны?

- Кто вы по специальности? - спросил я.

- Радиофизик вообще-то, но я интересуюсь нетрадиционными методами лечения болезней, проблемами долголетия.

- А что за Карл Маркс тут по коридору разгуливает?

- А-а, фарцовщик!

- Никогда бы не сказал. А что он так ночью сильно кричит?

- Страстный такой. Южный человек, одним словом... Девочки к нему, правда, ходят, иногда ночуют сразу по две, но не хулиган, спокойный человек... Наш этаж как бы дворянский, плебс ниже. Вечерком заходите. Вы не пробовали вес сбросить? Хотите, познакомлю с системой Брегга? Или Шелтона? Есть ещё системы йогов...

Вечером я пил кофе у Димы. Свою крайнюю, угловую комнату он отделил ещё самодельным тамбуром. У него был звонок. Звонить надо было: три - длинных, один - короткий, тогда Дима знал, что это пришли свои. За ширмой у Димы стояла раскладушка для гостей, сам он спал на рогожной циновке у порожка. Для гостей он держал в холодильнике колбасу и селедку, а сам ел лишь сырую морковь и свеклу. Дров Дима вовсе не покупал, он отапливал комнату самодельным обогревателем - "козлом", который был изготовлен в лаборатории. Дома он привык ходить в одних лишь плавочках, он извинился, сказал:

- Когда я один, то я вообще голый хожу, это естественное состояние человека.

Дима мог втянуть живот так, что со стороны пупа можно было видеть позвоночник. Он ущипнул кожу на животе и сказал:

- Кажется, поднакопил я излишний жир, надо добавить упражнений и урезать рацион.

Я глянул на свою чудовищную талию и покраснел. У меня, значит, был не просто толстый живот, а матрац какой-то, перина немецкая. Если бы мы были одни, куда ни шло, но в комнате была подружка Димы. Диана, шатенка с большими, ироничными глазами. Дима перевёл разговор на литературу, оправдывая мою неспортивность. Мы говорили о разных измах, о запретном Солженицыне, о скандальном Евтушенко, наших и зарубежных модернистах. Часы пролетели незаметно. Кофе дымился. Церковь глядела на Диму и на раздумывающуюся Диану.

В новом жильё калорифер и электроплитка спасали меня от холода. Но в этой неоготической крепости в сильные морозы Все врубали "козлокалориферы", где-то гулко ухало, и в доме гас свет. В коридоре топали, матюгались и восклицали:

- Твою мать! Кабель опнулся!

И после этого обычно сидели без света и в холоде с неделю, а то две...

Редакция наша была как бы проходным двором. Никогда я не видел, чтобы так быстро менялись в редакции сотрудники. Отчасти виноват в этом был Саня Тройкин, отпугивавший сотрудников своей грубостью. Тройкин любил принимать в редакцию людей ущербных, чем-то провинившихся, замеченных в чем-то. Такие будут терпеливо сносить Санино троглодитское хамство и лишь после его очередного отъезда с дружкой Хорунжим "в командировку" облегченно вздохнут и станут шутить, разговаривать.

Один сотрудник, Шарль Бамбин, звался у нас Бамбино. Он всегда ходил в берете, из-под которого выглядывали концы длинных черно-седых волос с перхотью. Глаза у Шарля были удлинённые, большие, с ярким блеском, губы слюнявые. Носил он странную одежду вроде комбинезона защитного цвета. Он шил её сам белыми нитками через край. Выглядел он не то заграничным нищим, не то Че Геварой, только что вышедшим из гор, после долгих ночевок у костра на лесных полянах. Шарль Иванович был эстетом до мозга костей, он рисовал гуашью и акварелью картинку, что-то космическое: горы, огромное солнце и маленький человечек, в ужасе воздевший в высь руки. Картинки был сродни дорожным символам ГАИ, но Бамбино гордился ими.

Бамбино вечно крутился у книжных прилавков, покупал книги, в основном философского характера. С полочки Бамбино шёл в столовую, брал сразу десяток котлет, потом съедал пару тортов. Потом ещё с неделю он питался шоколадом и пирожными. А потом ходил и кланчил у всех деньги на хлеб:

- Ей-Богу, три дня не ел!

Тройкин Шарля ненавидел и любил. Тут нет противоречия. Он ненавидел инфантильность Шарля и любил за всегдашнюю возможность безнаказанно поиздеваться над ним. Бамбино терпел все издевательства. Его выгнали уже из двух редакций и трех лабораторий. Он насиделся голодным и не хотел новых мытарств. Однажды Бамбино сидел в корректорской, выискивая пропущенные буквы и запятые. Напротив сидели девушки-корректоры и украдкой поглядывали на

Бамбино, как на экзотического зверя. Вошёл Саня Тройкин, стал за спиной Шарля, заглянул через плечо:

- Дочитываете Шарль Иванович? Поторопитесь, пора газету сдавать.

И вдруг Тройкин заметил шпильку, которая у затылка прикрепляла длинные волосы Шарля Ивановича к берету.

- А что у вас за прищепочки, как у девочки? - спросил, улыбаясь, Саня Тройкин. Он выдернул шпильку и стащил с Бамбино берет. Длинные волосы Шарля Ивановича рассыпались, обнажая внушительную лысину, которая всегда зимой и летом маскировалась беретом. Что стало с Бамбино! Он изменился в лице, на губах закипела пена. Он стал краснее мака и малиновее своё го берета. Бамбино вскочил, задыхаясь:

- Это... это... это мерзко! Это подло, в конце концов!

С треском закрылась дверь. Девушки испуганно вздрогнули и уткнулись носами в гранки. Саня посмотрел на меня:

- Ну, лысый, ну что такое? Ну, лысый, ну и что?

И прошла неделя, и прошёл месяц, а Саня Тройкин иногда во время беседы со мной, как бы ни с того ни с сего, говорил:

- Ну, лысый и лысый, что такое? Лысый, так что?

В доме возле Воскресенской церкви меня угнетали не мертвяки в подвале и не вопли милицейских сирен. Если человек, похожий на знаменитого философа, кричал по ночам от страсти, то и к этому можно было привыкнуть. Воду в ведерке таскать надоело. Утром принесешь, а вечером она уже кончилась. Так всю жизнь будешь ползать с ведром по вертикальной лестнице, пройдешь, путь равный пути до ближайшей звезды, но звезду эту не потрогаешь.

От знакомых околотитературных мужичков узнал, что при организации писателей есть чердак, на котором живут поэты. Чердак с паровым отоплением - раз, внизу, в подвале дома, есть туалет и кран с водой, а это - и раз, и два, и три, и четыре. Пятое: у выхода из дома, в подвале, где находится контора горсада, сидят вахтеры. Значит, кроме всего прочего, меня не украдут и не обидят. Шестое: у вахтеров - телефон, можно вечером и позвонить. Я жаждал попасть на чердак. Я посоветовался с Саней Тройкиным, он сказал:

Извини, но ты - слюнтяй! Ты издал уже вторую книгу! А там, на чердаке, живут ребята, которые лишь по три-четыре стихотворения в альманахе тиснули. Так у кого же больше прав?

- Так-то оно так, но, может, ребята эти с руководством контактируют, а я не знаю никого...

- Дитя не плачет, мать не разумеет! - резонно сказал Автономович. - Маленький ты что ли. Поди, познакомься, расскажи о своём положении...

Гордей Иванов, писательский начальник, потерял буйные кудри:

- За этот чердак нас долбают. Нам бы тех выселить, которые живут, а не новых поселять. Ладно! Освободим комнатку архива, тогда уж. Пора вас в союз наш принять... гм... возьмите-ка коньячку для беседы. Я встал, вслед мне Гордей сообщил:

- Только молдавского берите, по шестнадцать, по девять наш - не пью!

Прошёл месяц. Мы с Гордеем пили коньяк через день. Не было молдавского, Гордей соглашался на азербайджанский, хотя и морщился. А по мне - все коньяки пахнут клопами и вызывают изжогу.

Я уж думал, что загину на коньячном фронте, тело продубилось, в крови вверх и вниз метались атомы винного спирта - розовые пузырьки далеких южных восходов и закатов. Как-то там вышло, что после очередной выпивки я свёл знакомство с молодым поэтом Тыковлевым, он шепнул мне:

- Ждете, когда Гордей архив уберет? Нынче же выкинем всё под лестницу и - заселяйтесь!

Так я очутился на великолепном Олимпе писчердака. В мою комнату еле вместились раскладушка. Даже при моём невысоком росте я могу достать рукой потолок. Так вот надо мной то поднимаются, то опускаются томские потолки.

Весна. В комнатухе - жара, в распахнутое окошко весь вечер тарабанят оркестры. Цирк-шапито дает три представления в день. Последнее заканчивается в одиннадцать вечера, а в десять уже начинает бубнить рок-ансамбль на танцплощадке и бубнит до половины первого. Слышны вопли в микрофон человека, которого почему-то называют диск-жокеем. Это просто ведущий, но, в отличие от концертных конферансистов, весьма развязный, и не отягощенный никаким культурным багажом. Ковбой, в общем, а не жокей.

В два ночи всё в саду стихает. Лишь изредка из цирка, где и ночуют многие из артистов, донесется звук кларнета, кому-то из музыкантов не спится. Мелькнет белое платье меж деревьев, вздохи, приглушенные голоса. И всё стихает. Наконец-то? И вдруг - истошный крик, мольба о помощи, классическое: "Караул!" Это повторяется всякий раз с математической точностью в половине третьего. Затем мигают синие огни, звучат милицейские свистки. И опять всё стихает. Каждый вечер приходят на танцы потенциальные жертвы или те, кто хочет стать жертвой.

Вскоре Гордей дал мне кучу анкет, велел сняться анфас и в профиль, написать автобиографию в двенадцати экземплярах, нажимая в ней на мою партийность. Обязательно надо указать в ней, что я являюсь абсолютным трезвенником.

К этому я присовкупил несколько размахившихся журналов с подборками моих стихов, причем на одной подборке кто-то в давние годы начертал: "Глебик - дурак, курит табак". Я думал: стоит ли подавать на рассмотрение этот журнал? Гордей сказал: надо! Пусть надпись, но журнал столичный.

На собрании спросили: зачем пишу? Я хотел нигде ни служить, и ни числиться при этом тунеядцем. Но я не сказал им об этом. Один писатель, лысый, широкоскулый и похожий на зонского авторитета, сказал:

- Одобряю! Он пожилой, старый конь борозду не портит! Другой сказал:

- Зато мелко пашет!

Который про мелкую пахоту говорил, мне не понравился: толстые сальные волосы по плечам рассыпаются. Глубокопахарь какой! А что я мог? Молчал. Проголосовали единодушно. И долго потом жали руку. У длинноволосого рука была мокрой от пота. Теперь документы уйдут в Москву, а там комиссия решит: принять или нет.

Узнав о моём первичном приеме, Саня Тройкин сказал:

- Поздравляю, старик! Это ведь звучит - член! Там членам оклад платят, он спит, а оклад идет! И почет опять же! Ты, конечно, у нас уволишься...

Я просиял. Неужели правда? Работать не буду, платить будут? Член Союза? Но прием-то первичный. В Москве могут и не утвердить. Комиссия там...

Через неделю Саня Тройкин сказал:

- Старик, я узнал: оклада им не дают, враки это были... Да, жаль, конечно... Придётся тебе работать у нас... Да нет, не того жаль, что останешься, а того, что оклада писателям не платят.

Ещё через неделю Саня Тройкин спросил:

- Старик, ты что думаешь с жильём на взвозе делать?

Что я думал? Мне Вырдиков подсказывал: загони эту квартиру. Можно даже тысячи три за неё взять. А что? Центр! К тому же скоро будут жильцов этого дома легализовать. Жилуправлению надоела нервотрепка. Заселяются всякие, а потом - поножовщина, трупы. Уж лучше отремонтировать дом да интеллигентным людям ордера выписать. Так что теперь четвертый этаж жил надеждами. И у меня надежда появилась получить за свою квартиру от какого-нибудь интеллигента, если не три тысячи, то хотя бы одну. Но Тройкин сказал:

- Старик, ты переехал в Томск, редакция наша тебя выручила? Устроила тебе жильё? Вот... Теперь ты выручи редакцию. Отдай эту жалкую конуру на взвозе нашему Бамбино. Извелся же человек. На вокзалах ночует, его там уже милиция гоняет...

Я оставил на попечение Бамбино шкаф с книгами, стол, телевизор, всё что нажил в Томске ибо не смог бы втиснуть эти вещи в жилище на чердаке.

Жизнь на писчердаке имела разные грани. Часов в восемь вечера вахтеры запирали дверь здания на крючок. Если кто-то из обитателей чердака опаздывал, то вахтеры ему не отпирали. Их было трое, все они были солидарны в своём отношении к обитателям чердака, как к личным врагам. С вахтерами приходилось униженно заговаривать, предупредительно здороваться, умоляюще выпрашивать позволения посетить туалет, воспользоваться краном. Горсад тарабанил в окно оркестрами. До половины третьего ночи кричали в кустах насилуемые. А мы даже не могли сойти со своё го чердака, чтобы помочь, нас бы просто вахтеры не выпустили.

Ночами мы, как подобает поэтам, не спали, да и не смогли бы уснуть, если бы и захотели. Шум стихал лишь к рассвету. Кашлял и сморкался в своё й комнате поэт Олег Древозостоев. Он получил разрешение гулять в таежном заповеднике "для наблюдений за природой и вдохновения", как было написано в его мандате. Олег был сыном охотника и потому в прошлом году успешно ловил в заповеднике бобров, завезенных туда из Бобруйска. Зимой прибыл в наш город редактор издана "Молодое пламя". К весне у Древозостоева в столице вышла книга стихов, а у редактора появилась бобровая шуба. Теперь Олег создавал вторую книгу, что грозило семейству бобров из томского заповедника новыми потерями. В другой комнатухе поэт Тыковлев писал сонеты, архаичная форма которых приходила в противоречие с современным содержанием. Редакторы на такие стихи "не клевали", потому поэт Тыковлев клянчил рубль то у меня, то у Древозостоева.

Меня ещё не утвердили в союзе, но я подал Сане Тройкину заявление на увольнение. Самоуверенный такой. Он сказал:

- Теперь с настоящей квартирой будешь, у членов писательских своя, обкомовская очередь. Ничо, вот допишу роман про войну 1812 года, издам и тогда тоже в союз вступлю...

Вскоре я нанес визит в свою старую квартиру на взвозе. Воздух в пенале пах гарью. Я долго оглядывался. В нос били совершенно ужасные запахи. С раскладушки сдернуто байковое одеяло, в котором прогорела огромная дыра. А что за провода, тряпки? Штепсель. Это был лечебный электробинт. Вот здесь его замкнуло. Понятно. Шарль мерз под одеялом, лежа на тонком брезенте раскладушки, он решил обмотаться электробинтом и так греться. Во сне он ворочался, проводки перекрутились...

Но что он сделал с моим книжным шкафом? Вандал! Он расщепил его туристским топориком. Топил плиту. Но поддувало забито золой, дымоход не чищен, печь дымила и не давала тепла. Вся комната засыпана бумагами, обертками от конфет, газетами, которыми Бамбино отирал пену с волосами, когда брился. А одеяльный пожар он залил из ведра, которое служило ему переносным санузлом.

Я сел писать Бамбино письмо. И в этот момент явился он сам. Увидев меня, Шарль скорбно сморщился:

- Требую возвратить мне ключи! Чтобы никто не смел вторгаться в жилище! Требую не вмешиваться в мою личную жизнь!

Я кинул ключи на пол, подводя итог дискуссии:

- Ты молодец: открыл способ тушения пожаров собственным дерьмом. Тебе бы следовало присудить нобелевскую премию!

## 24. ПСИХОДЕЛИЧЕСКАЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Когда я получил писательский членский билет в корочках хорошей кожи, размером с небольшой чемодан, весь в золотых буквах, то почувствовал себя выше на две головы, хотя на деле из-за остеохондроза, стал ниже. Я чувствовал себя так, словно вылез из ямы. Знакомые, которые раньше лишь кивали мне на бегу, теперь приветливо здоровались, останавливались поговорить. И даже Дарья, которая столько лет не желала отвечать на мои письма, и дочери не разрешала мне писать, вдруг разразилась длинным письмом, сообщив, что дочь вышла замуж, живёт в далеком дальневосточном городке и пишет диссертацию под названием: "Психоделическая экзистенциальность икрометания кетовых в реке Хуанхе при ламинантно присущих им девиантных абберациях". Боже мой, а мне-то дочь всё снится прежней, маленькой девчуркой!

Пока я мотался по деревням и посёлкам, молодые - выросли, пожилые - старились. В жизни моих родственников происходили разные изменения. Кеша устроился в леспромхоз инженером, подделав диплом умершего Мальвинино мужа Кокарева. И надо сказать, что с должностью инженера он справлялся блестяще. Но родители Кокорева, которые тоже жили в Городке, взяли однажды и, что говорится, стукнули куда следует.



Кешу судили. Но ничего с ним плохого не сделали. Защитник там говорил, мол, человек свою юность положил на алтарь Отечества. В то время, когда бы он мог учиться, его, семнадцатилетнего, отправили на фронт. Разведка дальнего действия, это вам не баран начхал. А то, что он и без образования отлично справлял инженерную должность, говорит, что никакой подделки и нет, он вполне соответствует диплому.

У Кеши диплом всё же отобрали, с должности сняли, объявили общественное порицание или что-то вроде того. От стыда и позора Кеша с Мальвиной уехали в Норильск, заработали там максимальную пенсию. Мальвинины дети - Танюшка и Константин, и теперь в Норильске живут, с ними там остался Даромир.

Я побывал у возвратившихся в Городок Мальвины и Кеши. Они рассказали, что их дом много лет простоял заколоченный вместе со всем имуществом. И такие это были патриархальные времена, что никто в их усадьбе даже малой щепочки не украл. Теперь они лишь немного обновили мебель. Живи, и радуйся! У Мальвины и Кеши была огромная северная пенсия, но еще больше у них было денег на книжке. И они говорили, что непременно купят дачу возле Черного моря и будут на юге каждое лето отгоревать свои старые кости.

Кеша взял гитару и спел соответствующую его настроению песню:

Надену я черную шляпу,  
 Поеду я в город Анапу,  
 И сяду на берег морской,  
 Со своёй непонятной тоской.  
 В тебе, о, морская пучина,  
 Погибнет роскошный мужчина,  
 Который сидел на песке,  
 В своей непонятной тоске.

Песня была озорной, веселой. Было ясно, что роскошный мужчина вовсе не собирается тонуть в морской пучине, а может быть, своей черной шляпой, и своим загадочным видом очарует не одну жительницу Анапы. Да, они были счастливы. Горды своим благополучием. Я завидовал Мальвине и Кеше. Я не мог купить домик у моря и не мог мечтать о ежегодном отдыхе на югах. Но на сберкнижке у меня уже разместился будущий лесной домик, и автомашина была там же – "Жигули". Но я всё пластался день и ночь: нужно было мне подправить цифры в сберкнижке так, чтобы проектные "Жигули" превратились в проектную "Волгу".

Я стал хвастать новыми знакомыми. Я - поэт, часто выступаю, иногда - вместе с известными артистами. Один из них не только играет царей в детских сказках, но еще и самодеятельный скульптор. Зовут его Левонтий Вусов. Алина и Кеша сказали, что о таком актёре и скульпторе никогда не слышали.

- Ну вы же столько лет жили вдали от Томска! – сказал я им.

Потом мы помянули Гурия. Выпили за упокой его души великолепной клюквенной настойки. Он давно уехал из Томска на север. И я даже не знал куда именно. Теперь Мальвина сообщила подробности. Я узнал, что он почему-то бросил Наталью. Как сказала мне Мальвина, черт его понес в далекое северное село, где он стал работать часовщиком. Женился на молодой работнице промкомбината, которая

родила ему девочку. Гурий назвал дочку Ромашкой. Когда напивался, то шёл по селу, покрикивая: "Вяжите меня, братцы, вяжите!". Однажды к своей застарелой астме добавил он жестокую простуду, это и свело его в могилу.

О, чёрт! Зачем ты понес в северное село моего самого любимого двоюродного? Я представлял, как чёрт тащит по небу, держа за воротник блистательного Гурия, а он хрипит, но поет свою песню:

Под черной кожей у негра бьется сердце,  
Он также может смеяться и любить...

Мы еще поговорили о наступивших новых временах. Мальвина сказала, что ей осточертело видеть в телевизионном ящике физиономии престарелых генсеков, и частые пышные их похороны. А этот - такой молоденький, и лысенький, как её Кеша. Супруг возразил:

- Чего ты меня с каким-то там генсеком сравниваешь? Ну да, он, как я, лысый, но я сам больше, и лысина у меня больше, и выглядит благородней.

- Он обещает строй цивилизованных кооператоров!

- Поживём, увидим...

Потом долго не было у меня пути в городок. Я, наконец-то, получил настоящую квартиру. Плакал от радости. Вот оно жилище, о котором говорил ашхабадский лектор! Потом я плакал от того что разбил себе пальцы молотком, устраняя строительные недоделки. Электродрель вырвалась у меня из рук и я едва не просверлил себя насквозь. Отстоял десятки часов в разных приемных, добиваясь установки телефона.

Месяцев через пять после установки телефона, мне позвонила Мальвина. Оказывается, они с Кешей тоже "выбили" себе телефон. Мой номер она узнала из справочника, который только что был выпущен. Позвонила и спела мне с большим чувством по телефону романс:

Свиданья час, и боль разлуки  
Хочу делить с тобой всегда,  
Давай пожмем друг другу руки  
И в дальний путь на долгие года!

Я ещё подумал тогда: вот какая сестрица! Шагает по жизни с песней! А через несколько дней позвонил Кеша и пригласил на похороны Мальвины. Оказывается, у неё был рак груди, жить ей оставалось совсем немного, и она не просто пела романс по телефону, но прощалась со мной. Я бываю в панике, когда зовут на похороны. Но я не мог не пойти. Кеша обиделся бы на всю оставшуюся жизнь.

Была тихая осень. В доме Мальвины женщины все были в черных платьях и косынках, мужчины в темных костюмах и галстуках. Я в клетчатом пиджаке, в галстук с пальмами и обезьяной, видимо, смотрелся тут странно. Не сразу разобрался, кто там есть кто? Узнал только Майку. Она не постарела, и был с ней рядом мужик, оказавшийся её новым мужем. Пузо спился, и Майка решила: пусть - старик, но трезвенник!

Детей Мальвины я видел ещё маленькими. Худенькая большеглазая Танюшка превратилась в толстую самоуверенную женщину, руки которой были в золотых перстнях.

Я шепотом спросил Майку нет ли тут жены Гурия? Майка также шепотом объяснила:

- Нет, она снова вышла замуж и с нами теперь не знается. Зато здесь Кадик.

- Где?

- Да вон же, пьяный в дым!

Я посмотрел: да, похож на Гурия, но волос светлый. Такими белокурыми бывают карельские цыгане. Рядом с Кадиком стоял Даромир, и тоже изрядно пьяный.

Вскоре процессия двинулась в тот самый бор, где когда-то Кеша разгонял блатных поклонников Мальвины огромной дубиной. Тут и разместилось кладбище среди сплошных холмов, увалов, глубоких оврагов.

Не было в процессии оркестра, даже такого, какой некогда провожал в последний путь старого уголовника дядю Саню Рыся. И провожающих было до обидного мало. Никто не помнил красавицу-девчушку в фуражке с "крабом", как пелось в старой дворовой песне: "девушку с глазами дикой серны и румянцем ярким, как тюльпан". Десяток мужчин и женщин плелись за гробом, а позади пошатывались Дарик, и Кадик, разбрасывая по тропинке еловые ветви.

В склоне оврага была выкопана продолговатая яма, в которую поместили гроб с телом бывшего капитана и вообще оригинального человека - Мальвины. Никто не говорил речей. Женщины плакали. Мужчины молчали, но думали, судя по всему, о предстоящих поминках. Кеша громко хлопнул огромной ладонью себя по лбу и воскликнул:

- Граждане, заявляю! Я тут с ней рядом место забил!

Помолчали ещё. И стали потихоньку выбираться из оврага. Я шёл рядом с Даромиром, спросил его, как он там, в Норильске.

Он сказал:

- Тоска брат! Скоро я отправлюсь вслед за Гурием и за Мальвиной! Печень у меня совсем больная!

- Так не пей!

- Да как же не пить? Скучно!

- Что значит скучно? Ты же прекрасно играешь на баяне, на аккордеоне. Пляшешь, как артист театра "Ромэн". У тебя, я знаю, дети есть!

- И всё равно скучно!

Я этого не мог понять. Мне никогда не было скучно! Сколько ещё изумительных книг не прочитано! Сколько потрясающих мелодий звучит вокруг! Какие женщины встречаются! Каждый миг на земле - это изумительно интересно, даже в болезни, даже в нищете, даже в самой трагической ситуации.

А если ему скучно, значит, когда-то, где-то у его предка произошёл какой-то слом в программе на жизнь. Вот беда-то! И как это исправить, если нельзя вернуться на тысячи или даже миллионы лет назад?

Вскоре мы уже сидели за столом. Постепенно все стали разговорчивыми, вспоминали разные добрые дела Мальвины. Между тем я заметил, что Кеша потихоньку приобнял сидевшую рядом с ним молодку. Соседка, что ли, она помогала в приготовлении поминок.

Через какое-то время после этих похорон я узнал, что Кеша на этой молодке женился. Новая жена - лентяйка и пьяница, но он во всем ей потакает, ибо она на тридцать лет его моложе...

Я часто вспоминал Гурия. Какой талант пропал! У него были тетрадки, в которых он записывал стихи и прозу. Надо их как-то найти да опубликовать что-нибудь. С трудом узнал новый адрес Натальи. Жила она теперь на Иркутском тракте. Я нашёл её дом и квартиру. Звонка там не было. Постучал. Но мне никто не открыл.

Разочарованный, я побрел по Иркутскому тракту. И вдруг носом к носу столкнулся с Натальей. Запавшие глаза, иссеченные морщинками лицо. Она мне обрадовалась. Заставила рассказать о своей жизни. Сказала:

- Я слышала, что ты стал большим человеком.

- Да каким таким большим? Просто угол теперь свой обрел, чему и рад безмерно.

Я спросил её, не знает ли она адреса жены Гурия? Может, у неё остались тетрадки с его литературными опытами. Нет, адреса она не знала. Ромашка живёт где-то в Москве. Наталье квартиру на Иркутском тракте дала конфетная фабрика. Давно это было. Теперь Наталья - на пенсии, нянчится с внуком Петькой. Жена от Кадика ушла, так что больше внука нянчить некому.

Мне хотелось посмотреть её квартиру, посмотреть, пошёл ли внук тоже в цыганскую породу? Да не мешало и с её новым мужем познакомиться. Но Наталья сказала:

- Лучше тебе ко мне не ходить, и на мужа моего не смотреть.

- Что? Такой страшный? Или ревнивый?

- Не нужно тебе с ним знакомиться! - сказала она, чем совершенно меня заинтриговала. Я увязался за ней.

Когда мы зашли в квартиру, я увидел там сидевших за столом голых, в одних лишь плавках, широконосого мужика в бесчисленных наколках, и Кадика. Оба были пьяны. Кучерявый пацан катал по полу игрушечную машину. Наталья обратилась к своему новому мужу:

- Это брат Гурия, на улице случайно встретились, моего внука захотел видеть.

Мужик ничего не сказал, но почему с грохотом стукнул кружкой о стол. Глаза его смотрели сквозь меня. Да это и не глаза были вовсе, а щелки, из которых струилось физически ощущаемое презрение. Кадик молча смотрел в свою кружку с брагой.

Я попытался их разговорить, но Наталья меня испуганно дернула за плечо:

- Пойдём, я тебя провожу, Петюшку надо вывести на воздух.

Мы долго шли по бульвару молча, потом она сказала:

- Я тебе говорила, чтобы ты не ходил.

- Зачем же ты за такого вышла?

- Зачем? В зоне закон. Если какая женщина была замужем за зеком и свободна, то должна принять вновь освободившегося.

- Могла бы не принимать.

- Ты не знаешь, могут в таком случае и на нож поставить. Да ведь он - авторитет и два десятка тянул.

- Заявить в милицию.

- Поздно теперь заявлять. Пожалела я его, баба же! Пожалела, а теперь уж не отвяжешься, столько лет прожили.

Я подумал: "Да! Жизнь женщины, это как бы жизнь вратаря, который всегда должен защищать свои ворота. Чуть расслабишься и пропустишь гол, со Всеми вытекающими из этого последствиями. А желающие забивать голы всегда находятся".

И я закутился в делах. Высокие сферы, там тебе де-генерал, у которого надо взять интервью, тут тебе - девушка-секретарша, которую надо задобрить коробкой конфет "Щупа-Щупс".

Однажды у меня дома возник Кадик. Как узнал телефон, как узнал адрес, одному Богу известно. Зашел, присел на краешек стула, сказал почему-то:

- Ригель у твоего замка, какой здоровенный!

Я скромно ответил:

- Да уж, какой есть! Как живешь?

- Веришь, нет, четыре ребра сломали. Боль адская. Два месяца ни вздохнуть, ни пукнуть.

- Представляю, я однажды одно ребро зашиб, и то, как мучился. А кто тебя и за что?

- Откуда я знаю, шёл с института, где я теплотехником работаю, вдруг машина легковая останавливается, из неё три амбала с кеглями выскакивают, и давай меня ими возить. Я упал, руками голову обхватил. И всё. Кегельбан - кегельбан, чуть не треснул шарабан. Кто-то скорую вызвал.

- Но как же так? Без причины? Может тут дело в твоём отчине?

- Да причём тут отчим? Пять лет уже, как нет на свете ни его, ни мамки. Сперва мамка умерла, потом он.

- А Петька с тобой живёт?

- В зоне был, освободился только. На улице ждёт. Угостить его надо, да мне боль в ребрах заглушить.

- А за что Петька сидел-то?

- Ну, ловкий. На корзине с яйцами спляшет, ни одного не раздавит! Если с длинным ножом, так сразу и повар? Айда, познакомлю,

Мы вышли из дома. Нас ожидал парень в спортивном костюме, высокий сутуловатый, очень похожий на Гурия. Только глаза у него были не такие. Они были щелками, излучавшими презрение, в точности, как у Аркашкиного отчима. Одна рука у парня была совершенно черная. Наколка была в виде перчатки.

Кадик сказал с оттенком восхищения:

- Вот каков мерзавец! Черная перчатка, это у них высший класс. Ты понял?

Я понял. Я пошёл с ними к киоску, и, как в древние времена своё й жизни, пил водку из горлышка бутылки. Глотнет Петька, держа поллитровку черноперчаточной рукой, глотнет Кадик, потом глотну я. Закусывали рукавом. Одной на троих не хватило, я взял ещё. Выпили и вторую, за всё время Петька не произнес ни слова. Говорил только Кадик. И не по делу:

- На Украине создали новую партию. Название: За Единую Богатую Украину. Теперь скажи мне аббревиатуру?

Мы расстались. На прощание Петька пожал мне руку, своей рукой в неотделимой от неё черной перчатке.

И я закрутился в делах. Каждый день меня приглашали на какие-то мероприятия. Обычно я произносил там речи, читал свои стихи и пел авторские песни.

За большими и малыми делами, я совсем забыл о Кадике и Петьке.

Однажды встретил в трамвае Майку, спросил, как дела?

- Кадика похоронили, - сообщила она.

- Молодой же! Неужто это от того избиения, осложнение?

- В петлю залез!

- Почему?

- Петьку похоронил, и затосковал.

- А с Петькой что случилось?

- А я - знаю? Говорят, катался с друзьями на машине. Авария. У них правды не найдешь, как у змеи ног.

- У кого, у них?

- Ну, круг такой, своя компания...

Шло время. Молодой генсек развалил Берлинскую стену, и сам свалился со своего высокого кресла. Однажды очень долго показывали по телику балет "Лебединое озеро". Потом у нас в писательской организации все писатели дружно сжигали в пепельнице свои партийные билеты. Я свой билет жечь не стал, потому что не люблю всякую показуху. Потом меня спрашивали: "А где ты был во время путча?" Глупый вопрос. Я был в это время дома, но если бы я был и на улице – какая разница? Всё равно ни помочь путчистам, ни помешать им я никак не мог.

Наступила свобода. Ночью в подъезде кто-то подломил кладовку. У меня пропали все инструменты, рабочая одежда и еще много чего. Заявил в милицию. Явились молодые парень и девушка:

- Распишитесь об ответственности за дачу ложных показаний!

- То есть как? Почему?

- А вдруг вы сами свои вещи пропили, а теперь хотите перед женой оправдаться?..

Объяснять им, что у меня нет жены, я не стал, расписываться - тоже, забрал своё заявление обратно. Через неделю в коридоре спёрли мой электросчетчик, выдрал его со щитка вместе с предохранителями, и проводами, сорвали крышку с почтового ящика. Потом стали несколько раз в сутки звонить мне по телефону спрашивая дурашливыми противными голосами некоего Виталю. Особенно неприятно было то, что звонили и ночью. Не высыпался.

Я врезал в дверь два дополнительных замка. Они тут же заржавели. Оказывается, если их не могут открыть, то портят, впрыскивая кислоту, или жидкий азот.

Левонтий Вусов изваял скульптуру под названием "Элегия" и пригласил меня в выставочный зал на презентацию. Я пришел. Левонтий в моднячих джинсах, замшевой кофте и с галстуком-бабочкой на шее, встречал у входа посетителей, рядом с ним на столике лежала пухлая книга для отзывов в бархатном переплете. У Левонтия было приятное русское лицо с синими бездонными глазами, лоб с залысинами. В нем, маленьком, коренастом, чувствовалась недюжинная сила, неизбывная энергия, родом он был из архангельских поморов.

В центре зала помещалась "Элегия". Люди возле неё тихо перешептывались. Скульптура была вырезана из кедра. Лебедь сидел на двух гладких овальных камнях, грациозно изогнув шею, и расправляя крылья для полета. Я не сразу понял, что это вовсе и не лебедь. Сначала мне показалось только, что у него несколько необычный клюв. Потом я понял, что овальные камни, это - яйца, от которых вздыбилась не лебединая шея, а сами догадайтесь – что. Заведующая городским отделом культуры, молодая хрупкая дама, подошла к скульптуре, стала задумчиво и нежно поглаживать её. Но вдруг, отдернула руку, и, покраснев как кумач, выбежала из зала.

Левонтий кивнул ей вслед:

- Нет привычки к свободе! – Он обнял меня, спросил:

- Как тебе творится-пишется в условиях свободы, дорогой мой писатель?

Я занервничал:

- Ни сна, ни отдыха. Двери ломают, ночами звонят, обокрасть норовят. Много ли напишешь с больной головой?

- Пришла свобода, а мы её и не узнали, - сказал Левонтий. – Ты погоди, я тебе помогу, собаку продам символически, за пятак, дарить нельзя – сдохнет. Будет у тебя псина, верный друг и охранник.

Левонтий объявился у меня без собаки. Я облегченно вздохнул, мне ведь ещё не приходилось собак держать. Но он вытащил из портфеля небольшую собаку и поставил на пол. Физиономией она походила на Черчилля.

- Боксерка! - пояснил Левонтий, - Флорой зовут. Уши собаке надо купировать. Ну, давай пятак, я пошёл...

Когда он удалился, я достал с полки тяжеленный толковый словарь. Стал листать. Купаж. Купажировать - смешивать вина и соки с целью улучшения вкуса и качества. Гм, купе... Отделение для пассажиров ... Купидон, Купино. Купина неопалимая... Нет такого слова - купировать!

Звоню Левонтию.

- Это означает - обрезать уши! - хрипит он в трубку. - Зачем? Этика, эстетика, косметика! Оставить так? Ее же другие собаки за уши хватать станут. У неё же разовьется комплекс неполноценности. Иди в мединститут. За одно ухо – двести, за два уха - четыреста, за три - шестьсот... Считать умеешь?

Денег мне было жалко. Гена Большугин, ветеринарный врач, пишущий стихи, сказал:

- Спросите хряков с нашей фермы, я им всё лишнее удалил, живут, как младенчики. Я Флоре уши обкорнаю, а вы устройте мои стишки в газету.

Мы связали Флору липкой лентой. Она рычала, выла, визжала. Мы оба были в крови. Одно ухо Гена отрезал под корень, у второго отхватил лишь кончик. После этой операции моя собака приобрела клоунский вид. Я стеснялся выводить её на прогулку. Иду с ней, а ехидная пацанва, коей в нашем доме - не меряно, не считано, вопит:

- Калека калеку гулять повел!

Сплавить куда-нибудь Флору? Но мы в ответе за тех, кого приручили, это не мои слова, но правильные. Пусть живёт, хоть воры призадумаются.

Возвращаюсь раз с выступления, дверь моей квартиры приоткрыта, на полу валяются, щепки, шурупы. Похоже, кто-то тут монтажкой поработал. Заглядываю в

прихожую, там стоит амбал, которому я головой достану лишь до пупа, держит в руках мои настенные часы, связанные в узел пиджаки и рубахи. А Флора, ласково урча, облизывает ему сапоги. Я с досады шлепнул её газетой, а она на меня злобно зарычала: развлечение хочешь отнять? Амбал при этом возмутился:

- Какое такое право имеешь животную обижать?

Я выбежал на лестничную площадку, звоню соседям: то ли никого дома нет, то ли никто выходить не хочет, но за железными дверьми – тишина сплошная. Кричу:

- Пожа-ар!

Никакого эффекта. Только амбал из моей квартиры выскочил, без часов, но с двумя узлами. Забежал я в своё жилище, позвонил в милицию:

- Скорее! Ограбили!

- Бензина нет! – отвечают...

На другой день подзаял у знакомых денег и позвонил в фирму. Приехали с аппаратом, принялись железом грохотать, сваркой вонять. Железная дверь с двумя задвижками, тремя замками. Поставил еще сигнализацию. А в квартире пусто. Если бы питаться только хлебом и кашей, то моей пенсии в обрез хватило бы за сигнализацию рассчитаться, два за квартплату, и тоже – в обрез. Но я с дуру несколько раз дал Флоре мяса. С тех пор она лучше умрет, чем кашу станет есть. А на какие шиши мне мясо покупать? Гонораров нынче никто не платит. Книжку издашь, а продавать её будешь пять лет. Где для Флоры мясо брать? Может, с себя срезать?

Считается, что шикарно живу: квартира, породистая собака. Домик в лесу и автомашина, увы, перешли в виртуальное пространство. Было так, что деньги со сберкнижки выдавать не стали. А когда выдачу возобновили, я на свои двадцать с лишним тысяч рублей мог купить машину лишь в отделе игрушек универмага, ну и домик там же, соответственно. Конечно, еще больше меня потерял Кеша. Никогда не поедет он в Анапу, ни в чёрной шляпе, ни в белой. Мы с ним оба стали не выездными из-за дороговизны билетов. Будем до смерти сидеть за решетками и железными дверьми, которые устроены за наши деньги и по нашей просьбе. Мальвина же ничем не оскорблена и ничего не потеряла, потому, что умерла. Она не знает, что заработанные в Норильске деньги обесценились, пропали, не знает, что я и Кеша стали нищими. Человек теряет, рискует, тоскует – пока он жив. А если его нет, то у него и проблем не возникает.

А если жизнь продолжается, на смену одним мечтам, мучениям и радостям приходят другие. И заботы меняются, и дела. Раньше выступал через общество "Знание" и всегда мне платили ровно девять рублей, которые эквивалентны нынешним четыремстам. А теперь – как повезёт. Один день с утра до вечера я просидел на съезде зеленых. Даже чаем не угостили. Только дали в конце дня несколько брошюр и кучу бланков и анкет, которые я должен был зачем-то заполнить. На следующий день на форуме голубых был фуршет, и я слопал там с полкилограмма дорогого сыра и штук десять крупных и сочных мандаринов. Ещё больше мне повезло на собрании гермафродитов, я там прочел всего два стишка и спел пару своих песен, но за это мне вручили конвертик с зелененькой купюрой.

А жизнь продолжается. Кажется даже, что у Флоры её обрезанные уши отросли, по крайней мере, обросли шерстью. Стало не так заметно её уродство. Я



уже привык обращаться с сигнализацией, и сидеть за десятью запорами. Привык стареть, и становится всё более уязвимым для злых людей и для всяких болезней. Но всё равно в голове моей живут мечты. Надежда, как известно, умирает последней.